



Анри де Монтерлан

Роман "Девушки"

ДЕВУШКИ

Роман

Москва

Объединенный «Всесоюзный молодежный центр»

Книжная редакция «СТИЛЬ»

1990

OCR и вычитка: Давид Титиевский, май 2008 г., Хайфа

Библиотека Александра Белоусенко

ТЕРЕЗА ПАНТВЭН

Долина Морьен

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

авеню Анри-Мартен, Париж

26 сентября

1926 г.

Я вам благодарна, сударь и дорогой возлюбленный, за то, что ни разу не ответили на мои письма. Они меня недостойны. Три письма за три года, и ни одного ответа! Но теперь пришло

время открыть вам мой секрет.

С первой же встречи с вашими книгами я полюбила вас. Когда я увидела вашу фотографию в газете, пробудилась страсть. В течение трех месяцев, с 11 ноября 1923 года по 2 февраля 1924, я писала вам каждый день. Но писем не отсылала. Отправила только одно. Вы не ответили. И все же, когда я смотрела на фотографию, ваш взгляд и ваше лицо возвестили мне мою счастливую судьбу: вы меня не любили, нет, но вы уступили мне место в ваших мыслях.

В письме от 15 августа 1924 года — праздник Пресвятой Девы — я напомнила о себе. И чуть позже некое отражение на вашем лице на фотографии засвидетельствовало, что мое письмо вы получили.

Третий раз, 11 апреля прошлого года, я написала вам. Но столь велика была боязнь не понравиться вам избытком дерзости, что выражения, в которых я излила свои чувства, не позволили вам, конечно, сосредоточиться на них. Я не осмеливалась говорить о своей любви, и я от этого умирала.

Я вам написала огромное письмо, полное признаний, на шести страницах, начав его в последнюю субботу месяца Розария и закончив накануне праздника Непорочного Зачатия¹. Но его и подавно я не отправила.

Я думаю о вас, я страдаю, надо вам сказать: я вас люблю. Я не желаю вам никакого зла.

Как я страдала! Когда вы меня узнаете, вы поймете. Я не самодостаточная женщина. Вдали от вас я ничем не была, ничего не могла. Я стонала, я молилась, я размышляла, но эта внутренняя жизнь и была всей моей жизнью. Стоит ли мне что-то выжимать из себя, раз «это» нельзя посвятить мужчине, для которого я создана? Ведь Бог создал мужчину для Своей славы, а женщину — для славы Мужчины. О! Как

¹ Праздник Розария (отмечается ежегодно в первое воскресенье октября) учрежден папой Григорием XIII в честь победы венецианского и испанского флотов над турецким при Лепанте (7 окт. 1571 г.). Праздник Непорочного Зачатия — 8 декабря. (Здесь и далее — примечания переводчика.)

158

много вы для меня можете! Оживите меня, друг мой, меня, которая до вас не жила. Я нуждаюсь только в любви, и я способна на огромную любовь.

Я люблю вас и знаю, что, говоря это вам, выполняю Божью волю. Друг мой, вы никогда не грезили о нашей любви в Вечности?

Скоро октябрь... Последние полевые цветы. Мне бы не хотелось, чтобы они бесполезно умирали. Я их сорвала, осеняя себя крестным знаменем. Я положила — от вас и от себя — четыре стебелька на могилу котят-близнецов, умерших два года назад. Посылаю вам три стебелька и сохраняю три других, которые возлагаю к ногам моей статуэтки из Сакре-Кёр.

В этот раз я прошу вас ответить, чтобы я могла дать волю своей нежности и, если ваше сердце ответит моему, — привыкать к счастью.

Друг мой, наша задача — воссоздать Царство Божье. Если хотите это царство и мое сердце, дайте мне знать.

Целую ваше перо и подписываюсь

Мари Пароди 1

ибо Терезы Пантвэн больше не существует (не ставьте свое имя на конверте).

(Это письмо осталось без ответа)

МАДМУАЗЕЛЬ АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

3 октября 1926 г.

Дорогой великий Косталь,

летом я почти всегда на улице, и дом для меня перестает существовать. С первыми холодами его оборудуют, как ковчег для зимнего потопа, и особенно сейчас, гораздо острее, чем весной, когда умерла мать, я осознаю, что значит жить в Сэн-Леонаре (Луаре) со старым дядей, глухим и глупым, когда ты бедная девушка, сирота, без брата и сестры, и когда тебе почти тридцать.

И все-таки эту меланхолию словно отгоняет годовщина. Ровно четыре года назад, день в день, я прочла впервые вашу книгу. Ваша власть над людьми! Вчера вечером я плакала — настоящими слезами — перечитывая «Хрупкость». (Говорила ли я вам, что заказала восхитительный переплет из зеленого сафьяна? Вот единственная прекрасная вещь в океане безобразия и посредственности, где я живу. Сто пятьдесят франков. Половина моих карманных расходов в месяц...) Бывают дни, когда невозможно открыть газету, не наткнувшись на ваше имя; говорить, вас не называя (я произношу ваше имя чаще, чем женщина — имя своего любовника); думать, не чувствуя вашей

1 Le paradis — рай (

фр.).

159

мысли, смешанной с моей: вы не столько мужчина, сколько стихия, которой омывается моя жизнь, подобно тому как омываешься воздухом или водой. Никто вас не «чувствует» так, как я. Нет, никто, я не хочу! Я не ревную вас к людям, которых вы любите, — даже к «прекрасным дамам» — но к тем, которые вас любят. По крайней мере, я занимаю особое место подле вас, любя ваше творчество, как никто другой. Я знаю его почти наизусть, настолько, что часто ваши фразы вертятся на языке или на кончике пера, выражая мою мысль лучше, чем я выразила бы ее сама: вы говорите, а это себя я слышу. Это из-за вашего таланта, который меня покорило с первого же дня, и также от родства душ, которые внешне вроде бы разделены пропастью. Это таинственное братство в моей жизни, такой невеселой, а иногда такой тревожной, довело меня до экзальтации и поддержало. Как я повзрослела, читая вас! Вы переворачиваете души, открывая им собственные сокровища, подобно тому как перекапывают землю.

В течение четырех лет ваши книги были самовыражением меня самой, не имеющей литературного дара, как ваше счастье было моим вознаграждением — меня, несчастливой. Как и вы, желая осуществить и зная лишь отказы и ностальгию среди мерзкой жизни, нелепо парадоксальной, поскольку я получила образование, не находящее применения; парализованная безденежьем и одиночеством, я вам передала в какой-то мере весь этот пыл, весь этот аппетит к жизни. Далекая от мысли вас ревновать, как делают столько других женщин, я к вам испытываю, если так можно выразиться, чувство родителей, жизнь которых

не удалась, но которые видят своих детей преуспевающими (вы, следовательно, мой тридцатитрехлетний сын!). Замурованной, мне хотелось, чтобы кто-нибудь преодолел стены и препятствия. Это бы за меня отомстило. Если бы в какой-то миг вы перестали быть счастливым, вы были бы как не оправдавший надежд депутат, вы бы меня предали. Меня и многих других, ибо я знаю, что многие чувствуют то же, что и я.

Я горжусь тем, что вы пишете то, что пишете. Я горжусь тем, что вы существуете таким, каким существуете. То, что мужчина вашего склада пользуется успехом у публики (это чудо), меня примиряет с миром: значит, не все еще потеряно. Я бы не вынесла нелюбви к вам, и три года назад я говорила лучшей подруге: «Если бы вы не любили Костяля (как писателя), немного бы я дала за дружбу с вами». Я постоянно трясусь от страха, как бы вы не сделали чего-то не совсем «так». Если я вижу в газете статью о вас, то перед тем, как начать читать, дрожу, как моя мать, когда я была маленькой и соседка предупреждала: «Деде играет на берегу пруда». Но вы всегда пишете то, что я ожидаю, точно так же, как вы оказались при встрече таким, каким я вас воображала. Боже мой! Пусть это чудо никогда не прекращается! Это прекрасное чувство, знаете, — доверие с оттенком надежды, которым облакаешь свободного мужчину.

А когда я с вами познакомилась! Разве можно забыть вашу любез-

160

ность, ваше прямодушие, вашу благосклонность! Этот недостижимый Косталь! Великий и очень известный брат... но, вопреки всему, брат. Идеальный товарищ, с которым находишься на одном уровне, чуточку задаваясь. Я почти боялась, что вы окажете мне прием, который писатель с репутацией... победителя может оказать девушке, которая им восхищается и наносит ему визит; и — кто бы из нас ни почувствовал физическое влечение: вы ли ко мне, я ли к вам — это меня унизило бы. Еще сегодня я подарила бы вам жизнь, но не вижу себя дарящей вам поцелуй. Хотя религия больше не властна надо мною, осталось что-то от набожного и строгого детства (никогда не читала тайком книгу и никогда не испытывала желанья это сделать). Ваша сдержанность была для меня радостным открытием: «сдержанность» уравнивает «могущество» как у мужчин, так и у женщин. И, кроме того, она доказывала мне, что я для вас, — не как другие. И все, что вы для меня сделали, — рекомендовали книги, нашли место в Париже, потерянное по моей вине, — доказало, что вы добры, о чем нельзя было догадаться по вашим книгам (условимся: добры лишь в определенных часы; некоторые ваши поступки причиняют мне легкую боль, вам это известно. Что ж, вы на особых правах).

Через месяц я приеду на несколько дней в Париж, по делам, связанным с наследством матери. Обещайте, что будете на месте в это время.

Жму вашу руку, серьезно.

А.А.

P.S. Простите за длинное письмо. Это сильнее меня! Но я обещаю вам не писать теперь полмесяца.

(Это письмо осталось без ответа)

2.501. — Девушка, блонд., очаровательная, 28 лет, 20.000 сэкономленных франков, католичка, выйдет замуж за господина с положением.

2.529. — Девушка, 25 лет, акажу1, тонкая, прелестнейшая, изумительные ноги, без средств, провинциальная машинистка, выйдет замуж за господина, имеющего прочное положение. Нуждается прежде всего в нежности.

2.530. — Мадмуазель, 40 лет, аристократка, ед. дочь, слегка интеллектуальна, жив. в замке, 200.000 фр. приданого, выйдет замуж за господина, катол., весьма изысканного, даже без средств, предпочт. благородного.

2.550. — Дев., 21 год, дочь морского офицера, сирота, очень милая, светло-шат., каштановые глаза, маленькая, тонкая, хорошо слож., из Финистера, без надежды на состояние.

2.554. — Вдова, 49 лет, веселого нрава, очень сердечная, очень чувствительная, сентиментальная, очень богатая духовная жизнь, изыск., отлич. здоровье, идеальная хозяйка, превосходна во всех

1 Коричневый с красноватым оттенком цвет волос (по аналогии с американским деревом акажу).

161

отношениях, 25.000 ренты, поместье, желает переписываться относительно замужества с господином абсолютно чистосердечным, финансовое положение аналогичное, дабы обеспечить покой, уверенность, во взаимном доверии и обоюдной нежности. Серьезно. Адрес точный.

2.563. — Девушка-художница, индивидуальные качества; сердечна и решительна, независима, свободна и одинока, выйдет за симпатичного парня.

2.565. — Маркиза, очень высокая, глаза зеленовато-голубые, меняющиеся, волосы натурально золот., хорошо слож., очаровательная женщина, оч. элег., светск. женщ., оч. изыск., драгоценности, вступит в брак с красавцем-мужчиной в американском стиле.

2.574. — Честная девушка, здоровая, живет в деревне с матерью, хочет замуж.

2.576. — Служащ., шатенка, двадцать девять лет, тихая, покорная, заботливая, 600 фр. в месяц, легкий излечимый туберкулез, выйдет замуж за господина моложе 45 лет, действительно желающего сделать ее счастливой. Положение безразл. Покинула бы провинцию.

Выдержки из ежемесячного свадебного обозрения «Самый прекрасный день». Октябрь, 1926 г.

1899. — Холостяк, тридцатилетний, физич. крас, 1 м.75 см., образован, все качества, жен. на девушке, обладающей значительным приданым.

1907. — Служащий канцелярии, 23 лет, среднего роста, спортивный, жен. на женщине, которая обеспечит ему независимое существование.

1910. — Ветеринар, 24 лет, обеспеченный, красивый, высокий, прекрасные глаза, в духе Рамона Новарро, ищет в подруги жизни сентиментальную женщину, имеющую немалые 60.000 прид.

1929. — Вдовец, 63 лет, эlegantный, здоровый, бельгиец, свободной профессии, награжден Орденом Леопольда, 4.000 ренты, женится на даме или девушке, физически красивой, крепкой, любящей, экономной, с доходом 20.000. Страдал.

1930. — Майенский преподаватель, 28 лет, скоро повышение, женится на коллеге, свободомыслящей, со значительным имуществом.

1931. — Молодой человек, 1 м. 80 см., очень шикарный, очень хороший танцор, спортивный, рекордсмен, встретится с девушкой, блондинкой, независимой, относительно брака. Прогулки

на авто.

1940. — Дипломированный господин, пятидесяти лет, добрый, деликатный и бескорыстный, мечтающий о нежности, вступит в брак с юной особой, предпочтительно моложе двадцати двух лет, с имуществом; желает встретить девушку изысканную, хорошо воспитанную, образованную, нежную, преданную, безукоризненного поведения, очень милую, хорошую хозяйку, с виду простую, но в действи-

162

тельности соблазнительную, с приданным минимум 500.000 и по возможности с наследством.

1945. — Колониальный адъютант, без малейшего изъяна, гибкий, кудрявый, блондин, голубоглазый, горбоносый, совальным лицом, сентиментальный, скрипач, блед 1 в Тунисе, женится на девушке 17-20 лет, с приданным, любящей лучи солнца и вечную лазурь чудесных краев и бесконечный песок.

1947. — Механик-холостяк, 18 лет, вступит в брак с корреспонденткой, которая поможет ему наладить торговлю.

1950. — Капитан, 35 лет, высшая школа, скоро командир, офицер Почетного Легиона, физически привлекателен, шатен, изыскан, элегантен, трезв, нрава веселого, несмотря на перенесенные страдания, очень прямодушный, желает осчастливить юную особу, даже имеющую ребенка, высокую, веселую, сентиментальную и идеальную, отлично воспитанную, католичку, чтобы основать счастливый и прочный очаг, базирующийся на глубокой любви и высоких моральных принципах. Финансовое положение не имеет значения.

1958. — Молодой человек, 21 года, красивый парень, положение скромное, ищет родственную душу, богатую.

1962. — Виконт, единственный сын, 27 лет, дворянство с XVI столетия, удостоверенное подлинными актами, не обладающий в данный момент никаким личным состоянием, но ожидающий в скором времени крупное наследство, совершенен во всех отношениях, женится на очень богатой особе, религия и возраст безразличны, чьи родители нашли бы место для зятя.

1967. — Помощник сторожа на железной дороге, 29 лет, без состояния, из предместья Парижа, надеется жениться на молодой женщине.

«Самый прекрасный день»,

Октябрь, 1926 г.

Мужчина, читающий брачные объявления, может освободить, одного за другим, многих мужчин, находящихся в нем: мужчину, который смеется, мужчину, который желает, мужчину, который размышляет; в этом «мужчине, который размышляет», есть еще мужчина, который плачет.

Мужчина, который смеется. Да! Он насмеялся вдоволь. Прекрасное мнение большинства этих бедняг о самих себе. Огромная цена, придаваемая золотистым волосам и католицизму. Надлежащий рост господ. «Наследства», которыми располагают эти девушки, но какого рода наследства? По смешному идешь, как по ковру.

На второй странице газеты: «Дирекция предоставляет себе в распоряжение трех читателей, давая им образец, необходимый для

1 Земельное владение.

достижения их замыслов, а при желании (да-да!) готова написать подписчикам в указанном духе, по два франка с половиной за письмо».

На последней странице — афиша «дамы-детектива и ее ищеек, методов слежки и т.д.» Прекрасно. Создавая семью, надо подумать обо всем (но не сама ли директриса газеты, эта дама-детектив, Пенелопа, готовая распустить то, что соткала?). Неплохой пункт также и афиша «Быстрых ссуд»: известно, во что обходится женщина.

Когда мужчина, который смеется, вволю насмеется, презирается и т.д. вплоть до мысли, если он язвителен: «Поистине, честная война смела бы весь этот маскарад» (правда, добавляет этот бесчестный мужчина, один из ужасов войны, на который не обращают надлежащего внимания, — то, что женщины от нее избавлены); когда мужчина, который смеется, вволю насмеется, он нажимает кнопку и появляется мужчина, который желает.

Мужчина, который не прочтет без дрожи: «Девушка, 22 лет».

За каждым объявлением — лицо, тело и черт знает что (это вполне может быть сердцем). За этими шестью страничками текста — сто пятьдесят живых женщин, живущих в настоящее время; и каждая требует мужчину (а почему бы не я?), и каждая, поскольку она здесь, готова к аванюре, законной или незаконной (законная, конечно, в тысячу раз хуже, но женщина дошла до такой степени отчаяния, что предлагает себя любому).

Л Мужчины... Они требуют «солидных состояний». Мы ведь прочли: «Господин желает познакомиться, с целью последующего брака, с юной прелестной особой, имеющей солидное состояние». Точка. Это всё. Вы... Юная, прелестная и состоятельная. Я... Ну да, я — «господин»: вы недовольны? Большинство из них, несмотря ни на что, уточняет: «господин с положением», — хлеб и постель. Постель сначала. А что может быть естественней, респектабельней этого требования? «Под одеялом не чувствуешь больше нищеты», — как великолепно сказала нам одна марсельская шлюха (там чувствуешь порой другую нищету. Но вопрос не в этом). Мужчина алчущий, пред чьими очами эти странички, видит женщин волнующихся, как море, рычащих, как римская арена, когда выпускали зверей. Их слишком много; это обескураживает: таков любитель перед двумя тысячами музейных экспонатов. Стадо женщин на закрытой арене. Зловредных, как звери на арене, и все же, как и те, полуневинных и безоружных: все жертвы, даже самые худшие. Требуется лишь выстрелить в кучу... Подпорченные, грубые, скотские, жулики и вымогатели, — все лучники находятся наверху, выбирая добычу. Какая угроза нависла над женским народцем! Верх искренности и верх мерзости; все разочарования, все социальные драмы, вплоть до счастья, варятся в этом ведьмовском котле, каким является свадебное обозрение. И гротеск, и патетика, как во всем в жизни, а это — сама жизнь. Экстракт жизни.

Мужчина, который размышляет, он-то видит в маленьком брачном листке, столь смешном с одной стороны, социальное колесико первостепенной важности.

Мы прочли однажды в объявлении, расхваливающем отель курорта, следующую заманчивую формулу: «Избранные отношения». И часто слышишь, как один человек говорит другому: «Идите же к Х. Там вы завяжете отношения».

Здесь всякое благороднорожденное существо вздрагивает. И пред взором возникает словцо старой аристократки, истерзанной визитами докучливых субъектов, которая оставила внукам в качестве основного приказа: «Главное — не завязывать отношений».

И, однако, вслед за первым движением, ощущаешь всю жуть, порожденную отсутствием

отношений. Представляется великое множество прекрасных вещей, которых не хватает людям просто потому, что из-за отсутствия отношений они не знали, в какую дверь стучать. И это, конечно, трагедия: двери, которые как бы просят, чтобы их распахнули на эдемы; но их не распахивают, потому что люди прошли мимо них.

Существа, всю свою жизнь ожидающие существо, созданное для них, — оно всегда существует — и которые умирают, так и не встретив его: мужчины, не нашедшие, как применить свои дарования и изнуряющие себя примитивной работой; девушки, не вышедшие замуж, но которые осчастливили бы мужчину и себя; люди, прозябающие в нищете, тогда как есть для них благотворительные общества — все это потому, что они не знали, где способное их полюбить существо; где это благотворительное общество. Проблема, которая может стать наваждением.

И он переходит от большого к малому. Есть книга, которая в определенный час могла бы вас поддержать и о которой не знаешь. Есть город, в котором заперт предмет вашей любви; лекарство, которое спасло бы вас; комбинация, которая позволила бы вам выиграть время. Все это вас ожидало, но никто вам на это не указал, потому что вы лишены необходимых связей. Земля обетованная окружает вас — вы этого не знаете. Как оса, которая долго, пытаясь выбраться из комнаты, бьется с жужжанием о стекло, в то время как окно полуоткрыто в нескольких сантиметрах от нее. Меня швыряют в воду со связанными руками, не научив приему, позволившему бы освободиться; но прием этот существует.

Эти перекрещивающиеся дары и призывы подобны птицам, не пересекающимся в громадном пространстве; наконец, некоторые соединяются и улетают парами. Монтень говорит, что его отец желал бы видеть в каждом городе «условленное место, в котором могли бы очутиться те, кто в чем-либо нуждается. Один хочет спутника, чтобы уехать в Париж. Другого интересует слуга с определенными качествами. Третьего — учитель и т.д.» И он приводит в пример двух «весьма достойных господ», умерших в нищете, но которых поддержали бы,

165

если бы знали о их печальной ситуации. Разумеется, первый, кто замыслил поставить газету на службу человеческим желанием, заслуживает памятника. Все, что способствует встречам, подлежит одобрению, даже когда речь идет о встречах с сентиментальной целью; и, вопреки всему мерзкому и посредственному, что в них заложено.

Пожилая дама, рекомендуемая родным с затаенной грустью: «Главное — не завязывать отношений!» — уготапливала тем, кто ее послушался бы, все драмы неудовлетворенности, драму души и драму тела, а кроме того, жестокое сожаление для тех, кто готов был прийти на помощь, но не пришел. Замыкание в собственной скорлупе благотворно только для незаурядных и сильных людей. Остальные слишком дорого платят за это. В своей комнате нельзя запереться безнаказанно. «Не посылают спать» ближних безнаказанно. Именно так, потому что замыкание в собственной скорлупе — если это не продиктовано высшими интеллектуальными соображениями — диктуется чаще всего ленью, эгоизмом, бессилием, словом, «страхом жизни», о пагубных последствиях которого для человечества еще недостаточно сказано.

ТЕРЕЗА ПАНТВЭН

Долина Морьен

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

6 октября 1926 г.

Любимый мой, снова вы не ответили мне! Бог этого не позволил; да будет благословенно его Имя.

Убежденная, что в вашем молчании таятся великие дела — вы, конечно, работаете, — я хочу уважать это молчание. Да, до самого Дня Всех Святых 1. Тогда я пошлю вам еще один стон.

Целую вашу правую руку, ту, что пишет.

Мари Паради

P.S. Не ставьте ваше имя на конверте.

(Это письмо осталось без ответа)

ТЕРЕЗА ПАНТВЭН

Долина Морьен

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

День Всех Святых

Скорее! В моих руках что-то, отчего у вас дух захватило бы. Если бы вы знали тех, кто меня окружает! Если бы вы знали, как страшно полностью зависеть от властолюбивых, не желающих вам добра! Только в вас моя жизнь. Подарите мне жизнь, чтобы я была уверена, что обладаю ею вечно.

1 1 ноября.

166

В последний раз заклинаю. Вы — мое дыхание: не позволяйте мне погаснуть.

Мари

P.S. Я снялась на фотографии и посылаю вам. Видите, я молода, но не красива. На фотографии я еще приукрашена.

(Не ставьте свое имя на конверте)

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

ТЕРЕЗЕ ПАНТВЭН

Долина Морьен

5 ноября 1926 г.

Мадмуазель,

Я никогда не предполагал, что когда-либо отвечу на одно из ваших экстравагантных писем. Увы, последние меня тронули; зло свершилось. Вы говорите, что ваша жизнь в моих руках. Нам эти штучки знакомы. Но гипотеза, что вы, действительно, в это верите, такого свойства, что мне следует ее принять. Должен ли я позволять этим крикам возобновляться? У меня не хватает духу. Посмотрим же, что я могу для вас сделать.

Никакого шанса, что чувство, которое вы, как вам кажется, испытываете ко мне, найдет во мне хоть малейший отзвук; не преследуйте меня: это все равно, что ломиться в закрытую дверь; выдохнетесь. Впрочем, если бы вы и добрались до меня, вы ничегошеньки не получили бы: мне нечего дать кому бы то ни было. Уясните это раз и навсегда. Не надейтесь, что я когда-либо смягчусь.

Но то, что этот путь закрыт, не означает, что нет других. В вас, по всей вероятности, есть некоторая сила; жаль, если она уйдет на какого-нибудь широколаплого щенка, в которого вы способны влюбиться за отсутствием выбора. Если отбросить «розовую ленточку» вашей набожности (это зависит от вашего пола и возраста), останется, возможно, не самое плохое. Было бы удивительно, если бы Бог удовлетворился этим. Не знаю, что он представляет на самом деле, поскольку во мне нет ни капли веры. Но в нем, или в идее, которую вы о нем составили, вам будет куда лучше, чем у «очага». Смердные очаги, да, все! Единственное, что я могу для вас сделать, так это , подтолкнуть к поиску в подобном направлении и следить за вами издали, с симпатией, хотя, повторяю, я не верю ни в божественность Иисуса Христа, ни в какое-либо иное божество.

Но высшие сферы неверия мне знакомы. Они будут моей молитвой за вас, если желаете. Ведь это, в сущности, одно и то же. К счастью.

Не пишите мне письма на восемь страниц через каждые три дня, как вам, несомненно, захочется после этого письма. Степень моего расположения к вам такова, что я смогу читать ваше письмо раз в три недели, а не раз в три дня; говорю откровенно: я не стану читать ваших писем. Уступайте зуду писать только после того, как наложите

167

запрет, из которого вы извлечете для себя славу. Не надейтесь, впрочем, что я вам отвечу. Я отвечу лишь в том случае, если почувствую в этом крайнюю необходимость; иными словами, ответы мои будут редкими.

За сим, мадмуазель, прошу верить в мои искренние чувства.

Косталь

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

МАДМУАЗЕЛЬ РАШЕЛЬ ГИГИ

Каркеран (Вар)

6 ноября 1926 г.

Дорогая Гигишка!

Прошу тебя опустить в почтовый ящик в Каркеране (прости, что посылаю запечатанный конверт) письмо, адресованное одной девице из Луаре, которая мне желает добра (из Луаре) уже четыре года. Поскольку ей абсолютно нечего делать, кроме как думать обо мне, ты догадываешься, как ее это развеселит. Дурнушка, отнюдь не соблазнительная, но умная, воспитанная, мыслящая: она сирота (ее отец был мелким стряпчим в провинции; без состояния); она сама выучила латынь и т.д. — в общем, достойна всяческого уважения. Я испытываю к ней некоторую симпатию, хорошо сознавая, что значит быть девушкой в тридцать лет, и довольно незаурядной, да еще в Сэн-Леонаре (Луаре), да еще без гроша. Жалко, что такого рода создание осуждено либо закиснуть в девах, либо стать женой лавочника из Луаре, либо найти любовника (что, вероятно, нелегко, так как природа к ней мало благосклонна) и скатиться.

Я не гашу в ней иллюзию дружбы, что ее поддерживает, я знаю. Через несколько дней она приедет в Париж, и на этот раз мне не хочется ее видеть. Женщина, которая тебя любит и которую не любишь и не хочешь... В переписке — куда ни шло. Но наяву — ай! Я дам консьержу самые строгие указания отвечать, что я на юге.

Есть еще одна девушка, из Ла-Манша, которой я, наконец, ответил вчера после трех-четырех оставленных без ответа писем, которые она написала за три года. Недавно она прислала свою фотографию: это настоящая крестьянка, в черном балахоне сироты; невозможно представить что-либо более неграциозное. Она абсолютно безумна (в мистическом плане) и была бы ничтожеством без своего безумия, которое и есть вся ее ценность. Она тронула меня одним словом своего письма; именно это слово открыло мне если и не сердце, то по крайней мере ту область души, где дремлют (или притворяются дремлющими) благожелательность и жалость. «Если бы вы знали, как страшно полностью зависеть от властолюбивых, не желающих вам добра!» Думаю, речь идет о ее семье. Поскольку в ее набожности невозможно отличить, где кончается безумие и начинается возвышенное, я заговорил о возвышенном и хотел бы, чтобы она подумала, не создана ли она для монастыря: все лучше, чем скотный двор,

168

скотники и скотницы, полные презрения к одержимой девочке. Ты, дорогая Гигишка, обладающая человеческим гением дочерей Израильских, ты, думаю, одобришь то, что я ей в конце концов ответил. Я знаю, что это неосторожность: доброе деяние — всегда неосторожность. Но я не люблю отказывать людям в тех крохах счастья, которые они вымалывают, проходя мимо меня.

Не могу сказать тебе что-нибудь эдакое; разве что спасибо тебе за удовольствие, которое ты столь неизменно даришь мне в течение нескольких месяцев. Поскольку ты в Каркеране (надеюсь, путешествие было приятным), ты увидишь рыбацкие сети, что держатся на поверхности воды благодаря пробкам. Ночи, проведенные с тобой, — те же пробки, что поддерживают меня на поверхности жизни. Если бы не ночи с тобой и не подобные с другими подружками, думаю, что я бы пошел ко дну среди глупостей моей семьи, подлости собратьев по перу и времени, которое уходит на друзей.

Надеюсь, что последний по счету из твоих «арендаторов» недурен собой и добрый малый. В конце месяца возвращайся ко мне в прекрасной форме. Не думаю, что мне было бы грустно потерять тебя: меня бы развлекло заполнение пустоты. Но, несмотря ни на что, я был бы рад тебя сохранить.

Дорогая Гигишка, я люблю удовольствие, которое ты мне доставляешь, я люблю удовольствие, которое сам тебе доставляю, наконец, то, что тебе восемнадцать лет и ты мне

нравишься. До свидания, моя дорогая, честь имею.

К.

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

АНДРЕ АКБО (письмо, помеченное штампом Каркерана

Сэн-Леонар и присоединенное к предыдущему)

7 ноября 1926 г.

Дорогая мадмуазель,

Какая скука! Я в этой дыре, из которой мне не выбраться, пока вы будете в Париже. Если бы я был поближе к Парижу, я с удовольствием совершил бы маленький прыжок, чтобы вас избавить от разочарования. Но отсюда!.. Если в Париже вы будете в чем-то нуждаться, скажем, в рекомендательном письме или еще в чем-нибудь, немедленно дайте мне знать в Каркеран, на адрес «М-ль Рашель Гиги, Пляжная ул., 14». М-ль Гиги — старая шестидесятилетняя еврейка, у которой я остановился на несколько дней; будучи дурно воспитан, я, несомненно, паду в конце концов в ее объятия, если допустить, что можно воспламениться к особе, которую зовут Гиги, во что, впрочем, я не верю.

В то время, как я вам пишу, я вижу из окна, как солнечные лучи рассыпаются по танцующей метиленовой голубизне моря сверкаю-

169

щими осколками. И тогда я думаю, что значат эти одиннадцать месяцев в году, проведенные в Сэн-Леонаре; и эта красота моря, кажущаяся столь невинной, не выглядит уже такой. Сердечно ваш

К.

P.S. Нет, я вам наврал. Я не вижу сейчас моря по той простой причине, что я пишу вам из каркеранского кафе, откуда его невозможно увидеть. Но даже такая безобидная ложь кажется мне тягостной. Правда, несмотря ни на что приходится делать тягостные вещи. Редко, но случается.

АНДРЕ АКБО

Отель изящных искусств

Париж

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Каркеран

11 ноября 1926 г.

Косталь, дорогой Косталь, обмануло ли ваше письмо из Каркерана мои ожидания? И да, и нет. Да, потому что приехать в Париж и не застать вас, — очень глупо. Нет, потому что подобное письмо стоит в какой-то мере вашего присутствия. Ваше остроумие всё то же на протяжении четырех лет! Итак, если бы вы не находились так далеко, вы «совершили бы прыжок» до Парижа единственно, чтобы меня увидеть! И ваш восхитительный постскриптум,

это «угрызение», которое я чувствую в вас за такую пустяковую ложь. Как же вас не любить, несмотря на переменчивость настроения, недели молчания, резкие отповеди, — за все, что есть в вас от игрока и беззаботного малого; эта жестокая ребячливость, которую вдруг спасают и искупают поистине божественная доброта и деликатность? Вы меня только радуете.

Я одна в этой комнате маленького отеля. Трещит огонь; внизу Париж суетится под дождем. Ваше письмо передо мной на столе. Оно поможет мне прожить без вас несколько дней в Париже. Оно поможет высказать вам все, что у меня на душе. Это очень серьезное письмо.

Летом Сэн-Леонаре я нахожу почти приемлемыми те перспективы моей жизни, которые зимой приводят в содрогание. Для лодочных прогулок, купания, фланирования даже в Сэн-Леонаре найдутся милые парни, с лампой и книгами. Холод подстрекает к интеллектуальным занятиям. Тогда меня тянет в Париж. Но несколько часов в Париже — вчера Бетховен в зале Гаво; сегодня утром — Фрагонар в галерее Шарпантье — и я думаю: нет! Это невозможно! Мне нечего гордиться тем, что я есть, и непременно нужно, чтобы я это осознала. И то, что я есть, отказывается выйти замуж за посредственность. Снова эта въевшаяся в меня мысль, что женская любовь не может быть снисхождением, потому что в плотском акте побежденная — женщина.

Провинциалочка без средств и без связей, я не могу претендовать на «серьезное» замужество, которое принесло бы мне деньги и

170

положение в обществе — как, например, замужество в Париже, в зажиточной и культурной среде (чтобы найти достойного мужа, мне надо было бы с полгода прожить в Париже независимой, но не на что). Раз «серьезное» замужество отпадает, я хочу такого брака, который позволил бы мне открыто проявлять свою любовь. А так я буду прозябать в одиночестве, обездоленная и к тому же на всю жизнь связанная с человеком, с которым скучно, но которого я все же достаточно уважала бы и не давала бы ему почувствовать свою холодность. Получается, что ко всем нынешним скверным условиям, терзающим меня, приплюсуются потеря свободы и многочисленные заботы. К чему? Только ради безумной любви, ради поистине благородного дела можно было бы пожертвовать свободой.

Есть в Сэн-Леонаре два-три парня... Мне кажется, они охотно женились бы на мне. Они мне не безразличны. Молодые, милые, хорошо воспитанные, благородные. Одного из них, по крайней мере, можно полюбить (если постараться). Но в какой, увы, примитивной среде протекала бы наша жизнь: среди коммерсантов и провинциалов, среде, глухой к поэзии, ко всему глубокому, тонкому, бескорыстному! Возможно, женатый мужчина и способен отключиться от своей среды. Но замужняя женщина! Она не может изолироваться ни от мужа, ни от окружения мужа, не может даже рискнуть и шокировать его близких. Вы чувствуете, что значит быть просто чуточку возвышенной женщиной? В этом вся моя трагедия. Да, за то, что не терпишь посредственности, приходится расплачиваться. Ах! Как бы я хотела быть женой художника! Ведь чтобы быть женой художника, нужно любить в нем художника гораздо больше, чем человека; возвеличивать первого и осчастливливать второго. Кроме того, быть друг с другом, понимать друг друга с полуслова — какое счастье!

Меня ужасают старые девы. Я жалею жен-неудачниц. Мне отвратительны беспорядочные любовные связи. А что взамен?.. В апреле мне будет тридцать лет. Тридцать лет — критический возраст... Голова идет кругом. Я смертельно боюсь потерпеть неудачу. О, Косталь, что мне делать?

Меня поддерживает одно: ваше существование. Лишь вы позволяете мне сохранять равновесие. Стоит закрыть на мгновение глаза и подумать: «Вы есть» — и это меня утешает.

Ах, нужно быть благодарной за существование, за одно только ваше существование! Разве огонь меньше оттого, что просто вспыхивает? Я люблю вас, как факел, о который зажигаюсь. И тогда наступает вот что: вы сделали для меня блеклыми всех мужчин и посредственными все судьбы. Я больше не могу мечтать о нормальном счастье, под этим я подразумеваю супружество, потому что у меня никогда не хватит духу посвятить жизнь мужчине, которого я любила бы чуть-чуть. Представьте смертную женщину, полюбившую Юпитера, и неспособную после этого полюбить ни одного мужчину, причем отчаянно желающую кого-нибудь полюбить...

171

Как бы мне хотелось сделать что-нибудь для вас, для вашего творчества! И я ничего не могу, ничего! Если бы я умела писать, я написала бы о вас статьи, книгу. Мне бы хотелось, чтобы вы были бедны, страдали, чтобы вас никто не понимал. Мне бы хотелось представлять, что вы мечетесь в поисках себя как мужчины, подобно тому, как я мечусь в поисках себя как женщины. Ваша слабость была бы мне поддержкой. Но нет, вы самодостаточны. Вы словно замкнулись на своем одиночестве, и это вас заставляет ненавидеть других, сожалею об этом. Никакой надежды на связь между нами, единственную в своем роде связь: такую, чтобы вы пожелали предо мной полностью раскрыться. Вы только подумайте! Вы никогда не будете нуждаться в моей преданности! А вдруг бы у вас появилась в этом необходимость, а я бы не смогла откликнуться на ваш зов, поглощенная каким-нибудь тоскливым делом, отчаявшаяся найти себе лучшее применение?

Однажды, когда я вам писала, под моим пером возникла такая фраза: «Я вас люблю всей душой». Я не осмелилась ее написать, испугавшись, что вы примете меня не за то, что я есть. Сейчас, когда вы знаете меня, знаете, что нет ничего подобного в этом роде, что я никогда не буду влюблена в вас, я пишу ее с полной уверенностью и откровенностью: «Я люблю вас всей душой». Не нужно мне отвечать. Нужно забыть это письмо или только сохранить, если возможно, сохранить ощущение нежности. Главное, не заставляйте меня расплачиваться за него. Не меняйте свое отношение ко мне.

К.

P.S. Я перешла красное платье, бархатистое, слишком легкое для этой зимы. И купила себе серое пальто, такое изысканное — шикарное — о! Вроде тех, что выходят от первоклассных портных. (Впрочем, это подделка). Еще я куплю ток1 из серых перьев; лицо делается таким нежным! Вы видите, насколько я, вопреки вам, самостоятельно мыслю.

Быть элегантной, очаровательной может быть... И все это для чего? для кого? Для обитателей Сэн-Леонара. До свидания, сударь.

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

26 ноября 1926 г.

Дорогая мадмуазель,

я отвечаю на ваше уважаемое письмо от 11-го с установленным мною пятнадцатидневным опозданием. В течение восьми дней я не вскрывал ваш конверт: этому маленькому карантину я подвергаю все женские письма, после чего они становятся не такими ядовитыми. И

1 Шапочка без полей или с очень узкими полями, цилиндрической или конической формы.

172

в течение восьми дней я откладывал на завтра ответ, потому что он помешал бы мне работать.

Прошу прощения, но я не могу без улыбки слышать, когда мне говорят, что меня любят.

Ваше письмо в самом деле не было мне приятно. К чему оставлять этот дружеский тон, такой подходящий для нас, и впадать в вульгарность и убийственность «чувства»? В данный момент вы пребываете на таких недостижимых вершинах, что я сомневаюсь в своей возможности за вами следовать. Я к вам относился, если хотите, как к умному приятелю, и это было так естественно; теперь мне надлежит «поднять воротник». Теперь надо мной будет постоянно висеть ваше самопожертвование, а значит, придется обращаться с вами со всей деликатностью (образчик, которой вы уже найдете в этом письме): давать вам нечто пропорциональное тому, что вы оказываете честь дарить мне. Сколько обязанностей! Это, увы, недостижимо. Боюсь, что вы проявили неосторожность и опрометчивость.

Сохраните все это при себе, а я сделаю вид, что я вас не понял.

Другой вопрос: как-то раз вы меня удивили, сознавшись в полном незнании английской литературы. Я унаследовал библиотеку одной старой девы, которая, полагаю, испытывала ко мне нечто подобное тому, что испытываете вы. Хотите, я пришлю вам несколько переводных английских изданий? У меня они есть в оригинале. Мне досадно думать, что девушка, подобная вам, может прожить всю жизнь, так и не соприкоснувшись с гениями Англии.

Сердечно ваш, дорогая мадмуазель. Держите себя в узде, прошу вас.

К.

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

ноябрь 1926 г.

Как вы нелепы! Подумали, что я захотела вас захомутать! И тут же забеспокоились за свою независимость.

В сущности, что случилось? Я сказала вам, что вы для меня подобны божеству, а Бог, не правда ли, в какой-то мере зеркало, в которое смотришься и узнаешь себя лучше? Видишь свое отражение, но улучшенное? Вы такой? Мой возвышенный двойник, но более сильный, более гордый, — мое лучшее «я». Следовательно, я испытываю к вам спокойную и холодную страсть. И наряду с этим — дружеское чувство. Вы одновременно Бог и приятель. Не правда ли, очаровательно! О каком долге вы говорите! Давайте мне то же, что давали до сих пор, ни на что другое я не претендую. В вашей жизни я буду легче перышка. Нужно занимать поменьше места возле мужчины, которого любишь! Пока я смогу вам писать, я не смогу стать окончательно несчастной. И даже если вы устанете от меня, какое мне дело!

173

Если я не устану от вас и со мной будут ваши книги! Если предположить самое худшее, если

вы перестанете мне давать то же, что и всем, это все равно будет королевским подарком. Вот почему моя привязанность к вам полна безмятежности.

Мне кажется, что мадам де Бомон, любившая Шатобриана больше, чем он ее, могла написать ему то же, что я вам.

Как мысль о принудительной взаимности въелась во всех людей! Постоянно твердят: «Успокойтесь на мой и на свой счет: я не люблю вас и не полюблю. Я к вам страстно привязан, потому что мне это нравится, потому что я так хочу, потому что в этом мое счастье, потому что сладко думать о ком-нибудь, заботиться о нем, дарить ему радость. Я не прошу у вас ничего. Вы мне не обязаны ничем. Я люблю вас на свой страх и риск». И тот воображает, что вы любите его неотразимой любовью и не ответить взаимностью — несчастье. Но ничего подобного!

Вы на меня не сердитесь, нет, вы не можете на меня сердиться за мою меланхолическую полужертву, она меньше, чем жертва других женщин. Не лишайте меня своего уважения. Напишите мне как-нибудь. Прошу вас. Когда вы долго не пишете, я становлюсь безжизненной, я впадаю в состояние духовной и моральной пустоты. Мысль для меня безразлична, если я не могу заставить вас разделить со мной плод моего завоевания.

Вот моя рука

А.А.

P.S. Принимаю с признательностью посылку с английскими книгами, хотя в данный момент мне бы не хотелось ничем быть обязанной вам.

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

30 ноября 1926 г.

Признаю, дорогая мадмуазель: любить меня не столь замечательно. Едва я осознаю, что кто-то посягает на меня, я испытываю разочарование и скуку; мое второе желание — занять оборонительную позицию. В этой жизни я сильно привязан к трем-четырем существам; это те, кто не клялись мне в своей симпатии. Я думаю, что если бы они меня любили, у меня явилось бы желание отделаться от них.

Быть любимым больше, чем любишь сам, — один из кошмаров жизни, так как это вас вынуждает или изображать чувство взаимности, которое не испытываешь, или причинять боль своей холодностью и отказом. Это принуждение (а такой человек, как я, не может почувствовать себя принужденным под страхом превратиться в злодея) и это страдание. Боссюэ сказал: «Непоправимое зло причиняешь тому, кого любишь». Это почти то же самое, что я сказал: «Хотеть любить не будучи любимым — значит делать зло, а не добро». А Ларошфуко хорошо сказал: «Мы скорее полюбим тех, кто нас ненавидит, чем тех,

174

кто любит нас больше, чем мы желаем». Отсюда напрашивается вывод: никогда не говори кому-нибудь, что любишь его, не испросив за это прощение. Тот, кого я люблю, похищает часть моей свободы, но в данном случае этого хочу я сам; это такое удовольствие любить, что чистосердечно жертвуешь чем-нибудь. Тот, кто любит меня, отнимает всю мою свободу.

Кто мною восхищается (как писателем), грозит забрать её у меня. Я боюсь даже тех, кто меня понимает; вот почему я трачу время на запутывание следов: и своих, и своих героев. Что бы меня очаровало, если бы я любил Бога, так это то, что Бог не платит мне взаимностью.

Надо ли говорить, что еще я опасюсь физического желания ко мне в том случае, когда у меня его нет. Предпочитаю держать в объятиях бесчувственную женщину, бревно, чем женщину, которая испытывает от моего прикосновения больше наслаждения, чем я от нее. Помню несколько буквально адских ночей. В аду наверняка окажутся демоны, которые вас пожелают без вашего желания. Невозможно, чтобы Бог, любитель пыток, не подумал об этом.

Мне настолько хорошо известно, как это жестоко быть любимым, не любя, что я всегда внимательно слежу, чтобы не любить больше, чем любим. Мне случалось испытывать такое, когда мое желание было принято только из снисходительности, из любезности. Как же я заботился тогда, чтобы не быть в тягость, какими кошачьими шагами я ступал, с каким вниманием подстерегал первый признак усталости, чтобы дать задний ход, отдалить встречи!.. Нужно ли говорить о том, страдал ли я? Но я знал, что так надо, что я потерял бы все, если бы попытался себя навязать и, наконец, виноват я сам со своей чрезмерной любовью. Я знаю любовь; это чувство, к которому я не испытываю уважения. Впрочем, в природе его нет, это женское изобретение. Даю голову на отсечение: в большей безопасности я находился бы в зарослях, в качестве загнанного зверя, чем под крылом любящей меня женщины. Но существует привязанность. И существует привязанность, смешанная с желанием, — великая вещь. В каждой из опубликованных мною книг вы найдете под тем или иным соусом следующее утверждение: «Превыше всего для меня любовь». Но речь никогда не идет о любви, речь идет о смеси привязанности и желания, что не является любовью. «А что же такое смесь привязанности и желания, если не любовь?» Так вот, это не любовь. «Объясните мне...» Не испытываю желания. Женщины ничего в этом не понимают. И, наконец, я не люблю, когда во мне нуждаются интеллектуально, «сентиментально» или чувственно. Невыразимое удовольствие, которое люди испытывают от моего присутствия, умаляет их в моих глазах. По-вашему, я должен прыгать от восторга, думая, что выгляжу героем в чьем-то воображении?

Посылаю вам статью об этом, опубликованную много лет назад. Сегодня я не написал бы подобной. Она чрезмерна и без нюансов. Но по существу она верна.

175

Еще одно. Вы говорите мне о Полине де Бомон. Думаю, что Шатобриан не сделал бы для нее столько, если бы она не была при смерти. Он знал, что это лишь преходящий момент.

Примите тысячу комплиментов, дорогая мадмуазель.

К.

СТАТЬЯ КОСТАЛЯ

(фрагмент)

Идеал любви —

любить без взаимности

...Этому отвращению — быть любимым, которое испытывают некоторые мужчины, я нахожу много противоречивых объяснений, поскольку, в сущности, непостоянство — чисто мужская черта.

Гордость — желание сохранить инициативу. В любви, которой нас одаривают, есть что-то от нас ускользающее, что способно нас заставить врасплох, возможно, переполнить нас, что посягает на нас, что хочет нами манипулировать. Даже в любви, даже будучи вдвоем, не хочется быть вдвоем, хочется пребывать в одиночестве.

Смиреномудрие или, если словечко кажется слишком резким, — отсутствие тщеславия. Смиреномудрие пронизательного человека, который не считает себя ни слишком красивым, ни слишком значительным, ему смешно, что его малейшие жесты, слова способны принести радость или несчастье. Какой незаслуженной властью его наделяют! Не слишком высокого мнения я о том, кто осмеливается думать: «Она меня любит», кто, по крайней мере, не пытается пригасить событие, говоря: «Она поднимает на меня глаза». Чем, несомненно, принижает женщину, но делает это потому лишь, что принизил себя сам.

Я сравнил бы это чувство с чувством писателя, который считает

смешным иметь «учеников», потому что знает, из чего составлена его личность и что стоят его «уроки».

Человек, достойный называться писателем, презирает свое влияние на что бы то ни было; он «испытывает» обязанность распространять это влияние как своего рода «выкуп» страсти к самовыражению.

Мы... мы не хотим зависеть. И станем ли мы уважать тех, кто подчиняется нашему «игу»? Именно из уважения к человеческой природе отказываются быть главарем.

Достоинство — смущение и стыд от пассивной роли, которую играет любимый человек. «Быть любимым, — думает он, — состояние, подходящее только женщинам и детям».

Позволять себя целовать, ласкать, жать руку, смотреть увлажненными глазами: для мужчины — фу! Даже большинство столь женственных французских детей вовсе не любят, чтобы их целовали. Они разрешают из вежливости; а потом, куда деваться? Взрослые сильнее. Их досада на чмокания ускользает только от чмокателя, полагающего, что те в восторге.

Желание оставаться свободным, защищать себя; любимый человек — узник. Это хорошо известно, не будем об этом распространяться.

ТЕРЕЗА ПАНТВЭН

Долина Морьен

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

3 декабря 1926 г.

Вы ответили мне! Вы написали, что согласны читать раз в три недели мое письмо! Я прочла и

поцеловала эти слова. Не томите меня. Если бы вы видели, как я побледнела. Скорее, пишите мне еще слова, которые я могла бы поцеловать.

Я прижимала ваше письмо к груди, прямо к медальонам, пока они не стали причинять мне боль, и чем больше, тем становилось приятнее. Как всё, что причиняет мне боль, мне приятно! Я мечтаю, чтобы вы вошли в мою комнату, но если бы это случилось, я, может быть, заплакала бы.

176

Если бы я могла, я бы с радостью покинула «заразный очаг». Но куда идти? Стоило бы мне, как Аврааму, идти, куда глаза глядят, не зная куда, в святой свободе детей Божьих. Ведь идти к вам я не осмеливаюсь, я не смогла бы с вами говорить, вам не удалось бы вырвать из меня ни слова...

И все-таки я жду знака от вас, несмотря на мой жестокий страх вас разочаровать. Я не всегда нахожусь дома, я часто брожу по полям. Три-четыре раза в год я хожу в город. На прошлой неделе были в N... на ярмарке, и мне там было весело. Вы видите, что мне трудно стать монашкой, если вы имели в виду это.

Однако не верьте, что я легкомысленна. Раз в три дня я отдыхаю в Евхаристии, подобно тому, как отдыхаю душой и телом подле вас в тишине каждой ночи, и все существо отдыхает тогда во мне. Я молюсь за моего бедного отца, который не верит в доброго Боженку и так суров со мной. Знаете, что он сказал за ужином? «Лучше растить свиней, чем дочерей». При этом он смотрел на меня.

До свиданья, друг мой. Мне тяжело на сердце от всего, что я должна вам дать. Любите меня только капелькой моей любви, и Вечность примет нас в свои объятия.

Мари Пароди

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

ТЕРЕЗЕ ПАНТВЭН

Долина Морьен

9 декабря 1926 г.

Мадмуазель,

Если вы принадлежите Иисусу Христу, не нужно принадлежать ему бестолково. Допустим, Бог существует; он дал людям любовь с тем, чтобы они ее возвращали ему, ему одному. Должен ли я вам напоминать Св. Августина: «Душа может достичь Бога, только приближаясь к нему без посредника», или того мистика (мастера Экхарта)¹, который дошел до слов: «Знаете, почему Бог есть Бог? Потому что он свободен от всякой твари». Вы позорите Бога, смешивая его со мной. От этой грязи тошнит. Когда я вижу, как смешивают Иисуса Христа с человеком (смешивать не значит сопоставлять), я всегда думаю о школьнике, про которого говорила принцесса Палатинская: «Он заставлял рисовать на своей заднице лики Святых, чтобы его не секли».

Вы говорите, что не предназначены к религиозной жизни. Говорите: «Я не заслуживаю» или «Я не избрана». Очень даже возможно. Но не говорите о заслуге. Так же, как человеческая любовь — это не заслуга; благодать, которую оказывает кому-то Бог, делается из предпочтения одного — множеству, без заботы о степени заслуженно-

сти. Добавлю, что, если бы я был Богом, больше всего я ценил бы в человеке эту благодать.

Вы правы, что не верите себе: очень часто признаком того, что перед нами не Божье создание и не пронизано Божественным духом — его тщеславная мысль, что Бог одобрительно к нему относится. Точно так же признак порочности человеческого создания — уверенность, что оно удостоится аплодисментов.

Возможно, в вас есть силы, которые могут быть пожертвованы. Не знаю, что бы вы при этом потеряли, но знаю, что это пустяки. Должно быть, Отцу Церкви принадлежит выражение: теряющий выигрывает. Мне больно, что вы погрязли в полной глупости. Вы идете на ярмарку, идете в город, и вместо того, чтобы открывающее зрелище вызвало у вас отвращение, вы им наслаждаетесь. Если бы вы верили, что бы вы делали в мире? Нет ничего невинного в мире, едва начинаешь верить. За стакан воды вы дадите пощечину Иисусу Христу. Какой бы ничтожной ни была ваша активность, она смешна; мне бы хотелось, чтобы действия угасли в вас, как свет в полночном городе. Когда один из моих коллег сказал о «добродетели презрения», некий священник «сплясал» в ответ в журнале настоящий канкан пренебрежительных насмешек: «Добродетель презрения!.. Очаровательный христианин!..» Но Евангелие полно презрения Иисуса Христа к миру; только сегодня утром я читал: «Какое счастье сознавать, насколько мир достоин презрения! Как слаб человек, не презирающий его в той мере, как он того заслуживает!» Кто это пишет? «Нежный» Фенелон, «лебедь» (Медит. V). Но есть похлеще, и этого вполне достаточно. Иисус Христос, умирая, молился за своих палачей и отказывался помолиться за мир. «Я не о мире молю» (от Иоанна, 17,9). Вот гром, нравящийся мне гораздо больше, чем тот, когда он умирает. Он молится за палачей, потому что в этом экстравагантность, достойная его гения, но отказывается молиться за эту вялую, растленную толпу, которую проклял... «не о мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне». Поразительные слова, и как они мне по душе. Теперь, мадмуазель, принадлежите к тем, за кого Иисус не молится.

Грех сопротивления Святому Духу бесконечно трогает меня. Может быть, есть в этот час церковь, желающая, чтобы вы растворились в ней душой и телом, подобно тому как я растворяюсь душой и телом в своих произведениях; она ждет вас, как земля утренней росы. В то, что вы живете, я верю. Но духовной ли жизнью? Нет никакой возможности решить, что вы такое. Может, ничего. Больше всего вас беспокоит вопрос, чего стоят ваши движения. Только священник может разобраться в этом. Толковый наставник — вот фундамент того здания, которое вы должны выстроить. Ступайте же к отцу М., в монастырь... Я знаю отца М.; он имеет честь быть величайшим грешником; он лучше поймет ваши грехи, зная, что это такое. Он ввергнет вас в такое состояние униженности, что исповедь будет вам приятна, как мученикам пламя. Он никогда не поколеблет

в вас благодати (если предположить, что она в вас есть), но будет следовать за ней смиренно и настойчиво, после того, как испытает ее с величайшей предосторожностью. Хотя сейчас и не принимают постриг бессознательно, как это было раньше (сейчас только бессознательно женятся), и церковь не может быть полностью уверена в призвании, следует делаться монашкой не с людской, а с божьей помощью.

Вы молитесь за отца? Вы поступили бы куда лучше, молясь за себя. Разве вы забыли, насколько выше Евангелие? Вы поступите мудрее, если станете читать и постигать Евангелие, и не частить к мессе, причастиям и т.д. Злоупотребления часто опаснее ошибок, потому что их меньше остерегаются. Набожность должна быть без жестов, как и боль.

Осмелюсь сказать: столь же молчалива. Какой крик — молчание Моисея перед Богом.

Не забывайте, чего бы я не наговорил, что я не христианин. Вера — это сумрак; это выражение часто возникает под пером священников; а я — воплощенный яркий свет. Не забывайте, что я неверующий, что вера мне не нужна, ибо я уверен, что не буду иметь веру, и не желаю ее иметь когда-либо. «Есть хотя и надежный путь, но ведущий в ад». Возможно, я иду по этому пути, в воображении и в надежде я проклял себя сто тысяч раз. В поступках — в полном и абсолютном осуществлении желаний — я проклял себя еще сто тысяч раз. И в воспоминаниях и сожалениях я проклял себя еще сто тысяч раз. И это часть моей славы. И я достаточно помогал женщинам проклинать себя, чтобы помочь одной из них в противоположном, поскольку я благодатная душа, а благодатные души общаются друг с другом, как сама благодать, принимающая разные формы. И я есть — самое главное — тот, кто принимает всякие формы.

Говорю с вами на языке, который должен вам показаться отчасти непонятным. Вы извлечете для себя то, что сможете.

Простите, мадмуазель, мою нескромность

Косталь

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

14 декабря 1926 г.

Три недели вы не писали мне. Наконец, эта тощая почтовая открытка с десятком слов, не больше, приносит мне ваши пожелания и спрашивает о новостях. Что нового? Не могу же я вечно повторять, что я несчастна. Однако нужно во что бы то ни стало выйти из этого состояния, убивающего меня. В тот день (он не за горами), когда мне будет убедительно доказано, что любовь для меня закрыта, я не буду больше упорствовать. Самое страшное — цепляться. Останется добровольный отказ, высокомерная чистая жизнь. Я из поколения «жертв», из поколения девушек, чьи любовные шансы похоронены

179

войной, убийцей парней: мы тоже вдовы. Что касается авантюры — я недостаточно созрела для этого.

Мне кажется, этот отказ открывает предо мной широкий путь. «Я побеждена, дело сделано, это конец. Следовательно, то, что наступит, будет подарком. Поскольку я больше не ищу, я, возможно, уже нашла». Я часто наблюдала в себе подобный перелом, когда достигала пароксизма какого-нибудь испытания; взрыв яростной гордости, нечто вроде иссушения, отвязывания, внезапной горечи к судьбе: «И теперь будь что будет. Мне остается мое я».

Еще остаетесь вы, разумеется. В моей растерянности и отчаянии на меня нашло что-то вроде умиротворения: «Он не может, он не хочет быть моим счастьем. Но он является моей истиной. Он не хочет, чтобы я его любила, я ему разонравилась и погубила себя. Но в конце концов это высшее умиротворение в тщетности моей жизни, когда столько женщин вокруг никогда не найдут мужчину, который заставит трепетать их сердце, или полюбят бог знает кого из желания любить, — это высшее умиротворение обрести, наконец, уверенность: есть на свете человек, который меня заполняет, которого я могла бы любить всей душой. Я не

должна больше ни искать, ни ждать — изнуряющая судьба одиноких женщин». Да, эта мысль успокаивает. Это состояние «достижения», бегства от неопределенного и бесконечного волнения, от бесконечного любовного аппетита, — это отказ от конкретного сокровища, а не от бесконечных возможных и неведомых — это почти обладание.

Рождество! Пропасть скуки и посредственности — это те, с кем я должна жить. День дождя, ностальгии, тоски. Почему в иные дни все эти враждебные вещи, часто такие безвредные, одновременно поднимаются и обрушиваются на вас? Как жестоко испытывать это нашествие. И я думаю о Рождестве тех, кто любит друг друга, о восхитительном Рождестве «Вертера». Как жаль, что я не имею возможности поставить туфли в камин! Я бы поставила две пары, потому что безумно желаю четырех вещей: мужа (по любви), фоно, книгу, рассказывающую о Козиме Вагнер и «биби»¹, которую я вам не описываю, боясь ваших насмешек.

Счастливым год — 1927! Я вас очень люблю, Косталь, вы знаете. И если бы счастье давалось, как бриллиант, оно бы быстро перешло из моей руки в вашу. Я по-прежнему выражаю готовность к любому испытанию; но когда, когда вы захотите этим воспользоваться?

а. а.

(Это письмо осталось без ответа)

* * *

Сэн-Леонар, семь градусов ниже нуля. Ночью, несмотря на печь, в доме Акбо замерзает вода.

1 Биби — женская шляпка с перьями (

фам.).

180

Что вас особенно поражает в комнате Андре, так это то, что здесь всему: мебели, тканям, предметам — по меньшей мере двадцать лет, и все устарело; за двадцать лет ничего не куплено или почти ничего. Прекрасны только несколько «подстекольников» известных картин, выбранных со вкусом, причем отнюдь не женщиной (вкусом, в котором есть оттенок величия).

Зов рожка почтальона с улицы. Сколько раз он заставлял биться сердце! Несмотря на холод, она приоткрывает окно. Большой фонарь на велосипеде почтальона освещает дверь соседнего дома. Вздрагивает, приближается. Она молится свету фонаря, как комете: «Боже, сделай так, чтобы он остановился!» Но фонарь удаляется. Есть человек, которого она зовет, а он не останавливается.

Её, изолированную от человечества, еще больше изолирует холод. Снежный воздух останавливает звуки. Во всем медлительность. Скорые поезда не ходят, курьерский прибывает с опозданием на день. А что, впрочем, страшного? Письма нет. К счастью, она знает, что в феврале проведет месяц в Париже.

Она всегда страдала от того, что не на кого положиться, некому довериться, нечему себя посвятить. В детстве она выказывала симптомы того вида болезни, которую Косталь назвал «леттризмом» Андре. В этот период она писала письма самой себе, вроде английского поэта времен последней войны, который при каждом рейсе к Дарданеллам платил мальчугану, чтобы в момент отплытия корабля махал платком. (Косталь считал такую черту омерзительной, невозможно пожимать руку мужчине с подобной чувствительностью.) Потом

она была довольно долго корреспонденткой журнала мод, что является для девушки мужским эрзацем, как пудель для женщин — эрзацем ребенка. Это занятие прекратилось, едва она стала писать Косталю.

Она исписывала десятки страниц на протяжении целых часов, и останавливала ее порой только судорога в руке. Как и большинство женщин, она посылала под видом писем свой дневник. Просторные страницы без полей, нумерованные, с вымаранными или надставленными словами, строчками, которые добавлялись отовсюду и даже обивались сквозь другие строчки. Когда Косталь получал такое письмо, он взвешивал его со вздохом, угадывая количество содержащихся в нем страниц. Для мужчины, который, как и большинство мужчин, не в силах прочесть длинное письмо, это было каждый раз тяжелым ударом. Очень редко конверт не был закреплен прорезиненной бумагой, обычно используемой как обложка для блокнота. Внутри Косталь всегда находил фотографию, которую в ярости, даже не взглянув, разрывал и швырял в корзину. Ах, если бы она это видела — нож в сердце! Но вместе с тем через секунду она бы все поняла. Если только, неизлечимая, не подумала бы: «В такую ярость приходят лишь, когда любят. Что он имеет против меня сегодня?» Иногда она душила свои письма такими резкими духами, что он был вынужден вывешивать их на улицу, подвешивая прищепками для

181

белья; но и это не всегда помогало: целую неделю они отравляли запахом ящик его письменного стола. Если он жаловался на это, Андре жаловалась в свою очередь: разве дружбу могут поколебать подобные мелочи. Она неспособна была понять, что здесь не было дружбы, что если бы здесь была дружба, она была бы поколеблена: ведь когда речь идет о качестве существа, мелочей нет. То же самое в отношении ее бумаги «невозможного» формата. Поскольку Косталь сохранял эти письма, он сделал ей замечание: как безобразно они его стопки, выходя за края и нарушая аккуратность. Пустая затея. Поэтому случалось, что он выбрасывал ее письма единственно из раздражения видеть, как их края становятся кружевом в его бумагах.

На ее письма Косталь время от времени отвечал. Крошечные, неудобочитаемые буквы: он писал быстро, чтобы поскорее с этим покончить. Он говорил все, что приходило в голову — да-да, черт знает что. Крошечные буквы, которыми он ее чуть-чуть вышучивал, так как игра была свойством его характера. А она... она-то верила, что вышучивают лишь то, что любят. В минуты просветления она находила эти крошечные буквы трогательными, как они, действительно, были.

Вначале она присылала ему и маленькие подарки. Корзины с цветами, фрукты; и он имел слабость, лень, и милосердие их принимать. «Я очень огорчу ее, отказавшись». Когда же она прислала ему очаровательный мундштук, он вернул его с вежливым письмом. В течение года она не присылала подарков, потом возобновила: одеколоны, лавандовые саше. Он написал ей: «Дорогая мадмуазель, я больше не буду возвращать ваши маленькие подарки. Автоматически я их буду отдавать одной из моих любовниц». (Так он и сделал). Она была убита. Маленькие подарки прекратились.

Другое лекарство от разочарованности Андре — чтение. Книги подаренные, книги, присланные из библиотеки, книги даже купленные (безумие: книги за тридцать франков), она читала до боли в глазах. Почти всегда хорошие книги. И почти всегда в заметках, которыми она заполняла белые поля, было что-то интересное.

Переписка, чтение, что еще? Она выписала проспекты агентств путешествия, каталоги редких книг, автографов, пластинок, также каталоги больших магазинов; и, бесконечно перелистывая их, отмечала почти без горечи, что бы хотела иметь. Ее не возмущало, что миллионы дураков и дур могут наслаждаться благодаря краденым деньгам духовными ценностями, наоборот.

Она попыталась писать, но быстро поняла, что не обладает талантом. Иногда, когда было совсем неумоготу, выходила и бесцельно бродила по городу, хотя не любила природу, по крайней мере, природу Сэн-Леонара. Она пришлось бы по вкусу только как декорация для живых.

Временами эта жизнь казалась терпимой: если она и не чувствовала себя счастливой, то не чувствовала и несчастной. Читая хорошую

182

книгу: «Подумать только, есть женщины, сидящие по восемь часов в канцелярии!» В другие дни она безумно скучала. Сводил с ума избыток досуга и незнание, как им распорядиться. Тем не менее, отказывалась от любой материальной работы из обостренного чувства ценности времени. При жизни матери она никогда не желала помогать по хозяйству, штопать, перешивать платья. «Варить варенье, в то время как я могу воспитывать себя, открывать великого писателя, которого не знаю, изучать что-нибудь, да хотя бы читать Лярусс!» Чтобы броситься в рукоделие, нужна была острая боль. Например, в минуты, когда она чувствовала себя без руля, без ветрил, начинала штопать чулки. Наступало равновесие: тревога равнялась штопке чулок. Так что вид карминового «яйца», которым она пользовалась в безмятежный период, доводил ее до дрожи. Со смертью матери нужно было заниматься низменными делами. В этом было что-то абсолютно неприемлемое для нас.

Однажды Косталь сказал ей: «Если бы я имел несчастье быть отцом девушки, у меня свербило бы до тех пор, пока она оставалась бы девушкой, а еще больше от того, если бы она оставалась девушкой без приданого. Родители гордятся, произведя болвана, и трубят об этом всюду, но когда речь заходит о том, чтобы его мало-мальски воспитать! Я понимаю: для серьезных людей страшно сделать то, что надо, чтобы пристроить дочь (интриговать, принимать и т.д.), потому что все, что сопровождает свадьбу, — бесспорно, самое мерзкое, что только можно вообразить в жизни человека. Но не следует ставить себя в такое положение! Всегда происходит одно и то же. Делать детей, потом не знать, что с ними делать. Столько внимания, сознания, серьезности для родов и столько легкомыслия, глупости, слепоты для воспитания. И мы набредаем на родителей бессребреников, которые не выдают дочь замуж, ждут-пождут неведомо что, ждут, пока она станет старой девой и не сможет ни на что претендовать. Я знаю родителей-преступников, чья дочь пригодна для брака, но которые блюдут ее в девичестве, чтобы сохранять рядом с собой. Все это для того, чтобы сказать вам, что вам остается одно: устроиться в Париже на малонудную работу, которая обеспечивала бы независимость и, плюнув на все остальное, заниматься только тем, чтобы ходить в гости, т.е. искать мужа. Единственная ваша цель в данный момент — устанавливать контакты.»

Мадмуазель взбрыкнула от этих слов. Она была, как эти художники-бездари, которые, выступают против буржуа, а сами являются еще большими буржуа. «Устанавливать контакты — и этот совет дается возвышенной натуре! И это советуете мне вы, презирающий свет, лелеющий одиночество! Контакты! Это мне подходит!» — «Я живу в одиночестве потому, что я победил и оплатил право жить в нем. Когда мне было двадцать пять лет, я тоже «ходил в гости»; именно потому, что я делал тогда скучные вещи, я могу сегодня делать то, что мне нравится. Речь идет не о том, весело ли «ходить в

183

гости», а о том, хотите ли вы оставаться старой девой без гроша в Сэн-Леонаре. Если нет, вас нужно достойно выдать замуж, а вы выйдете достойно замуж только в том случае, если заставите дефилировать перед собой достойных опьяненных господ, подобно тому как заставляют дефилировать перед собой жеребцов в татерсале. А это вы сможете сделать только в Париже. Обеспечьте себе положение. Если хотите, могу вам посодествовать».

«Она постоянно будет у меня на шее», — подумал Косталь. Несмотря на это, в кризисе альтруизма он сказал ей не только: «Я помогу вам обрести положение». Он отважился на большее: «Я познакомлю вас со светом». Она согласилась.

Если бы она его не любила, он, возможно, взял бы ее в качестве секретарши: его собственная ушла. Но брать секретаршей женщину, которая вас любит!.. У Косталья был друг, господин Арман Пэлес, само совершенство, знаменитый отец семейства, он был генеральным секретарем громадного жульнического предприятия (общества по восстановлению затопленного Севера). Он предложил должность машинистки, и Андре уехала в Париж.

Но когда Андре должна была заняться работой, препятствующей личной жизни, она взъерошилась: это было сильнее ее. Не проходило и получаса, как она начинала вздыхать, что приводило в отчаяние шефа канцелярии. По двадцать минут она не выходила из туалета, читая Ницше. Она приходила с опозданием и уходила раньше. С четвертого дня книга Валери, открытая в наполовину выдвинутом ящике, погружала ее в чистую поэзию, едва шеф удалялся; ее выдавало резкое задвигание ящика, когда он оборачивался. Впрочем, хотя она полагала, что ее скромность граничит с героизмом, телеграммы через каждые три дня («Не хотите ли пойти в воскресенье на концерт испанской музыки», «Я пойду в субботу на выставку эстампов в Национальную Библиотеку. Если вдруг у вас окажется время...») засыпали Косталья; он извинился два-три раза, не ответил на следующие и в конце концов стал рвать их, не вскрывая. Следует подчеркнуть, что он палец о палец не ударил, чтобы «вывести ее в свет». Он тоже считал себя героем, поместив ее в Париже; и героизм его длился недолго; лучше умереть, чем прогуливать Андре по собраниям. И тот и другой считали себя героями, а это всегда плохо кончается. Когда в конце месяца, получше познакомившись с девушкой, г-н Пэйлес нашел предлог, чтобы вернуть ей ближайшую свободу, все были очень довольны, и даже Андре. Жить в Париже, будучи узницей в этой дурацкой канцелярии; иметь на расстоянии вытянутой руки все, что она любит, и не иметь возможности наслаждаться этим, — лучше уж жить в провинции, где, по крайней мере, если она страдает, то без раздражения. Почти с облегчением она села в поезд на Сэн-Леонар.

* * *

В зале Реформистского Центра, ожидая вызова на осмотр, — двести средних французов, бывших солдат; это ни буржуа, ни народ, но тот

184

класс-посредник, что составляет Францию с их французским гением скверно одеваться, носить бледные лица — ах, честное слово, не красавчики-парижане. Беспокойная толпа, где мужчины снуют туда-сюда, трутся друг о друга, как быки в стаде, чуя приближение человека; это особенно одноногие, упорствующие в нежелании садиться. Один вскакивает при каждом выкрикнутом имени; другой справляется о туалете: мысль, что его просьба о пересмотре пенсии будет отброшена, отзывается в животе. Есть, однако, и спокойные папаши, бывалые старички, почтывающие газету. Изумительная смелость тех, кто в толпе разворачивает «L'Action Francais» (если при этом не дают свидетельства об инвалидности, так это потому, что не существует больше правительства). И болезненные лица тяжелораненых, пришедших со своей «дамой». И некий буржуа с красной ленточкой, усевшийся не вместе со всеми на белую скамью, а чуть поодаль, на единственный стул в зале, дабы подчеркнуть, что в этом тяжелом испытании его респектабельность пребывает нетронутой.

(Входя, Косталь сунул перчатки в карман, чтобы не быть здесь единственным обладателем перчаток).

Косталь представлял всех этих мужчин — в шинелях, и тогда любил их, в то время как, видя

на них гражданское платье, в нем являлась, скорее, тенденция господствующего класса: усматривать в них грабителей. «Например, этот жирняга... Возможно ли одновременно, — спрашивал себя наш профессиональный психолог, — быть больным и быть жирным? И тот, со своим скотским взглядом... ясно, что с ним ничего, но что такое «ничего»?» Тут мужчина со скотским взглядом поворачивается и показывает профессиональному психологу пустой рукав пиджака. Волна уважения, надежды, страха, внезапной пронзительности взглядов, когда проходит врач. Пронзительность и в то же время униженность. Некоторые приветствуют его, чтобы напомнить о себе, не видевшему их ни разу в жизни. А он, он проходит, попыхивая сигаретой не потому, что он курильщик — вовсе нет — а потому, что это признак его могущества, поскольку курить здесь запрещено. Двум-трем беднягам, особенно усердно здоровающимся, он дает, он оставляет свою руку, не останавливаясь, не поворачивая головы. Проходя, всемогущий, отодвигает немного мужчин, беря их за локоть, с видом превосходства, точно касается спин баранов, проходя сквозь стадо. Сначала они, еще не зная, кто берет за руку сзади, вздрагивают; но, едва увидя, расцветают: всемогущий прикоснулся к ним, недостойным! Ах! их дело в надежных руках.

Если врач останавливается, чтобы поговорить с одним из них, их вдруг уже трое или четверо, потом — шестеро, потом — десяток — бесстыдно образующих круг и слушающих, пытающихся на лету поймать комбинацию, которая поможет добиться чего-нибудь или только ускорит их очередь. Это люди с положением — такие вдруг покорные, такие безумно и грубо почтительные, готовые на все; как это больно.

185

Вывеска извещает, что «Строго запрещено врачам-ассистентам принимать гонорар в кабинетах Реформистского Центра». Почему же, о администрация, должна быть заронена мысль, что эти гонорары несут оттенок чего-то грязного? Мы хорошо знаем, что все, касающееся пенсий, — чисто, как кристалл.

Прекрасная мимическая игра этого человека у входа, когда один из врачей покидает зал. Он борется со своей робостью, наконец, побеждает ее и быстро выходит вслед за врачом, которого атакует уже на улице; он опускает глаза, изображает равнодушие, чтобы другие не уловили его маневр, не последовали за ним, чтобы атаковать врача одновременно с ним.

Мужчины выходят, но и входят тоже. Так что (глубоко убежденный, что это ты пройдешь самым последним) думаешь, что конца этому не будет. В самом деле, это очень «по-военному».

В дверях зала осмотра время от времени появляется служащий и выкрикивает имена тех, кто должен войти. Те, для кого военная жизнь и жизнь гражданская — сплошное убожество, вечные «второклассники» отвечают: «Здесь». Один из служащих выкрикивает имена голосом стентора, и люди смеются, а другие, понимая, что это забавно, смеются в свою очередь. Огромная зубоскальная волна. Внезапный фронт.

Некоторые, входя в лабораторию, сгибают спину, чтобы казаться еще более больными. Другие, наоборот, подпрыгивают, изображая резвость, думая, что вид их понравится больше всего. Больше всего народу заходит в зал «аппаратов дыхания и кровообращения», потому что здесь больше всего возможна симуляция. Сквозь открытую дверь лаборатория является в светло-зеленом мерцании аквариума или Восточной ночи. Урывками можно заметить, что происходит в зале осмотра. Один старается прочитать, что написал о нем врач, и продолжает говорить, лгать в пустоту, тогда как врач, поднявшись, непринужденно поворачивает к нему спину. Другой дышит тяжело, напряженно. Третий возвращается, натягивая штаны, и на кальсонах видна оставшаяся этикетка с ценой: кальсоны куплены вчера, потому что его белье было неприличным. Взгляд кричит, что он облапошил врача или верит, что облапошил, и он идет, опустив ресницы, как человек, идущий к причастию, прячет блеск триумфа в глазах,

которые его выдают. Другие выходят с развязанным воротничком или галстуком, что подчеркивает их принадлежность к полицейским властям (всю дорогу сюда Косталь торопил таксиста, думая, что, если опоздает на пять минут, его отдадут под трибунал). Некоторые из выходящих болтали со своими знакомыми. Это мирные французские бунтари; тщетная попытка все уладить. Стоило лишь какому-нибудь другому врачу пересечь зал — и снова во взгляде у них появлялся этот жестокий огонек униженности. Они ждали от него чего-то и тем самым переставали быть бунтовщиками. Бунтуют только против того, от чего нечего ожидать. Время шло, и усталость давала себя знать.

186

Одноногие отказывались стоять. Тупость подавляла стадо. Когда видишь, как они соглашаются, и как сам соглашаешься, приглашенный к полдевятиному, пройти в полдень, понимаешь, как она могла продолжаться четыре с половиной года.

Слепой вышел из одного зала в сопровождении девушки — и воинский орден, как спущенный шар, был тут же потерян для Косталья.

У нее были суженные глаза, голубоватые под черными волосами, какие встречаются в Андалузии, что так же волнует, как черные глаза у настоящей блондинки. Маленький лоб (ах! как же она очаровательно глупа!). Кудряшки на шее, и хотя он всегда себе говорил, что любит только стриженные затылки, — вот представившееся удовольствие опровергнуть себя. С новой свободой он уже обожал эти кудряшки. Кожа ее была так натянута, что казалась мраморной и матовой, но чуточку блестел нос, как полированный мрамор, который часто целовали. Она немного склоняла голову набок, как бы для того, чтобы указать место на шее для поцелуя. Он уже любил, когда она взбивала и поправляла волосы (жест мидинеток)¹, он любил эту общность некоторых жестов у женщин. Тело было пухленьким и одновременно хрупким, что называется *morbidezza*², не правда ли?

Они прошли мимо Косталья, и он вдохнул ее запах, трепеща ноздрями, как это делают псы. Пара вышла. Косталь не колебался и последовал за ними. Шефу Реформистского Центра он напишет прелестную ложь.

Он решил предложить свои услуги для поисков такси. Но едва те двое очутились на улице, как прошла пустая машина, которую они остановили. И наш дорогой мэтр остался на тротуаре.

Он был этим доволен. «По крайней мере, смогу спокойно поработать».

В день приезда в Париж Андре пошла на концерт. Как много значили раньше эти музыкальные часы в ее безлюбивой жизни! Они заменяли всякое опьянение. Тысячи любовников падали друг другу в объятия. Какое падение затем с седьмого неба на парижскую улицу! Тогда она чувствовала, что никогда бы не смогла выйти замуж за посредственность. В этот раз она скучала на концерте: апатия и безразличие. Музыка, которую раньше она отчаянно любила из-за невозможности любить другое, теперь, в предчувствии скорого присутствия Косталья, показалась просто бесцветной. Косталь отвращал от всего, разрушал все вокруг, все, что ее поддерживало, превращал в пустоту, словно хотел, чтобы она любила впредь только его. То не был уже Бетховен; то был он, его «музыка потери». Эта «Пасторальная симфония», с ее имитацией птичьего крика, показа-

1 Простая и фривольная девушка.

2 Чуть болезненная, томная, «изнеженная» грация

(ит.).

лась ей ребяческой. Она слушала сквозь скуку. На самом деле она не слушала, она не могла слушать. Худшая музыкеттка укачала бы ее грезы так же хорошо.

Косталь пригласил ее назавтра в ресторан. Это был крошечный двадцатифранковый кабачок. Они беседовали только о литературе. Сжатая со всех сторон обедающими, она не осмеливалась говорить о самом сокровенном.

Добавим, что она почти не испытывала в этом потребности. Она приехала в Париж на месяц: у нее было время. А кроме того, рядом с ним она пребывала только в состоянии полной гармонии, которая делала их, как ей казалось, братом и сестрой (она часто возвращалась к выражению «брат и сестра»; все же сейчас думала: «Байрон и Августа», а это еще один нюанс). Умиротворение, блаженство, чувство безопасности, раскованность... Ощущение ненужности слов и восхитительное чувство одиночества, даже более острое, чем наедине с собой.

Она удивлялась, что не испытывает волнения. Это, думала она, благодаря духовной близости, более сильной, чем любовь, и выше ее. А еще потому, что с тех пор, как она получила шутивное письмо Косталя, старалась играть в мужскую дружбу, в границах которой он желал оставаться, и подавлять волнение. Она даже не желала принимать от него ни одной из целомудренных ласк, которые нравятся девушкам, разве что поцелуй руки. Тем более, что это казалось не выражением любви, а, скорее, изливанием благодарности, словно ей не хватало слов, или она не осмеливалась или не знала что сказать.

Он ни разу не остановил на ней взгляд, смотрел поверх ее головы; она этого не замечала. Впрочем, он всегда смотрел внимательно только на тех, кого желал.

Один все же раз его глаза задержались на голых руках Андре — и уже не могли оторваться. Эти руки были грязными. Тщетно силился он внушить себе, что этот серый оттенок — естественный цвет кожи; самообман был невозможен. Довольно долго он не отрывал глаз от этих рук, не в силах что-нибудь сказать. Может быть, если бы он ее хотел, он захотел бы ее еще больше (да, может быть). Не желая ее, он только охладел.

Атмосфера веселой болтовни, созданная писателем, — и быстро восстановленная — была оживлена им к концу обеда. Андре решила, что это из-за ликеров, даже из-за нее самой. Но эта веселость внезапно возникла у Косталя в ту минуту, когда он решил укоротить вечер, сбежать в удобный момент. Это была веселость лошади, почуявшей конюшню.

Она восприняла расставание без недовольства и вернулась домой пешком. Эту спокойную нежность она обретала при каждой их встрече. После тоски, вызванной долгими отмалчиваниями Косталя, когда она желала любой катастрофы, излечившей бы от любви; после его отмалчиваний, толкавших ко всевозможным безумствам, все

становилось простым и спокойным; стоило им встретиться, все до такой степени начинало вращаться в естественном легком ритме, что Андре бывала чуть ли не холодной в присутствии Косталя.

Покидая ее, Косталь сказал: «Через денек-другой я вас извещу». Через неделю она ему написала. Косталь разворчался, но счел жестокостью лишать ее на более долгий срок новой встречи, во время этого бедного парижского месяца, на который она так рассчитывала. В том же квартале — на авеню Марсо — у него было послезавтра два дела: в четыре и в восемь. Между ними он был свободен. Он назначил ей свидание на половину шестого, на улице Кантен-Бошар, перед домом № 5, на тротуаре (он должен был выйти из этого дома после

визита к друзьям).

В пять двадцать пять, на тротуаре улицы Кантен-Бошар, Андре уже мысленно упрекала Косталя в опоздании. Он забыл об их встрече, вышел раньше и ушел. Ее немного удивляло это свидание на мостовой, во тьме, в этот особенно холодный и хлещущий дождем день начала февраля. «Назначает ли он подобное свидание женщине, которую любит по-настоящему, или он просто на что-то рассчитывает?» Но вот он выходит, она дрожит, и они идут рядом, по темной улице с редкими белыми и красными огоньками.

– Я не в духе, — сразу же сказал Косталь. — Вчера увидел у торговца маленький нефрит и захотел его купить. Тысяча франков. Решил купить его вечером, когда буду проходить перед магазином. После этого встречаю старуху, которая несколько лет назад держала цветочную лавку, где я всегда покупал фиалки для своих милых подружек. Она вдова; рассказывает мне о двух своих больных детях, о том, как дурно поступает с ней брат, о своей бедности. Хлоп! И вот я сражен, мне стыдно покупать нефрит; сую ей в руку тысячефранковый билет. Я до сих пор не пришел в себя.

– Что вы хотите сказать?

– Я не пришел в себя от досады, что дал ей тысячу франков вместо того, чтобы купить нефрит.

– А что вам помешало бы купить нефрит?

– О, я его купил, конечно, но это уже совсем другое дело. Что досадно, так это то, что я дал тысячу франков из чистого милосердия. Это отравит мне настроение на целую неделю.

– Да ну же, удовлетворение от... нет, не скажу от «сознания исполненного долга», это натяжка... В конце концов, разве вы не испытываете некоторого удовлетворения от того, что доставили удовольствие человеку, которого пожалели?

– Да нет...

– Тогда сожаление?

– Да, сожаление... Мне стыдно. И в то же время меня беспокоит другое: что такое тысяча франков? Я отравлен желанием дать ей больше.

189

– Как вы закомплексованы, мой бедный друг!

– Это потому, что вы не знаете, что такое жалость. Этого чувства достаточно, чтобы разрушить жизнь. К счастью, я защищаюсь. У меня четкая эгоистическая дисциплина. Если бы я не был эгоистичен, я бы не занимался творчеством; надо было выбрать. Вы разберетесь когда-нибудь в этом эгоизме, если Богу будет угодно...

«А то, что он делает для меня... Делает ли он это из жалости?» — спрашивала себя Андре. Ей казалось, что он ее любит, но не различала, как он ее любит. Может, он так же добр и отзывчив к другу. Иногда все же она думала, что невозможно быть до такой степени услужливым и деликатным из одной лишь доброты. Если бы она не боялась ему разонравиться, она спросила бы: поступает ли он так из чувства чистого товарищества — из чувства высшего товарищества — или в этом есть и капелька любви? Наконец, как бы это сказать... нравится ли она ему?

Но вот Косталь, заметив вывеску «Сдаются апартаменты» и, бросив взгляд на дом, сказал:

– Я давно одержим навязчивой идеей переезда. Не будет ли вам скучно осмотреть вместе со мной это место? Я очарован этим домом.

Через минуту консьерж провел их в комнаты. Какое удивительное ощущение испытала Андре! Будто они молодожены или жених и невеста. Ослепление... Стало совсем чудесно, когда консьерж сказал ей:

– Все работает очень хорошо. Если мадам желает взглянуть... Горячая вода...

«Мадам»... И в этой ванной комнате. Возможно ли? Возможно ли, что Косталь не отдает себе отчета в том, что заключено в посещении его предполагаемого очага для девушки, причем девушки, о любви которой ему известно? Возможно ли, что он не вложил сюда какую-нибудь заднюю мысль? И значит, она не столь скверно одета, раз ее приняли за его жену? Однако он спрашивал совета: не нужно ли зашторить окно? Убрать стену? Машинально она отвечала, словно шквалом, в такую неожиданную и неправдоподобную даль, что было страшно.

Она сказала, чтобы что-то сказать:

– Шесть комнат, не многовато ли?

– Да нет. Салон, столовая, кабинет, моя комната, туалет, и еще одна комната, «могила неизвестной женщины»...

– «Могила»? Вы станете Синею Бородой?

– Нет, «могила» в другом смысле. Двойной смысл. Комната, где совершается падение женщины. И комната, где падают ее иллюзии.

Возможно ли, возможно ли, чтобы он был настолько бестактен, если?.. Она чувствовала себя как во сне, перед пропастью. Спускаясь с лестницы, она боялась потерять равновесие.

На улице ее охватил холод. Она задрожала. Теперь он шел рядом; его очень длинное, приталенное пальто било по ногам, как юбка (она

190

подумала: как шинель немецкого офицера), в ритм каблучков, которые клацали с захватывающим могуществом и величием. Его руки в перчатках сложены на животе в неизменном на всем протяжении их встречи положении, показавшемся ей священным. Ей почудилось, что она идет рядом с одним из царей «Илиады». Он говорил:

– Что за пытка, эти переезды, устройства! Моя семья подтрунивает надо мной: «Тебе надо жениться, чтобы была женщина, заботящаяся о твоём очаге». Нравственная манера подталкивать вас к браку, не правда ли? Жениться из социальных, фамильных соображений, чтобы сделать крошку счастливой, — нет. Речь идет лишь о том, чтобы иметь кого-то, чтобы вас не заклемили, когда покупается трип. Жениться на таких условиях! Следует обзавестись экономкой, с которой можно расстаться, если она не справляется с работой. В то время, как жена...

Косталя пронизывало сознание ошибки, которую совершает, вступая в брак писатель, — настоящий писатель, относящийся к своему искусству серьезно. Эта тема была для него неисчерпаема. На протяжении пяти минут он на одном дыхании поносил женитьбу писателей, безмерно и — подчеркнем — довольно безвкусно. Истины, полуистины, софизмы сталкивались на губах, смешиваясь с едкими сарказмами. Бьющий ключ! Или полный до краев кубок, грозящий перелиться, как марокканские водоемы.

«Видите, как я вам доверяю, — сказал он, наконец. — Я говорю с вами как с мужчиной».

Какая разница! Почти все его слова ранили женщину, которая шла рядом, торопясь, сиюсь приноровиться к его шагу, дрожа от холода, вдоль темных улиц. Вознес ли он ее до седьмого неба только для того, чтобы вновь швырнуть в пропасть? Поначалу она попыталась наскрести несколько аргументов в пользу женитьбы писателей. Она была уверена в справедливости этих аргументов, но чувствовала себя такой неуклюжей, что теперь это не «выходило»; она не находила слов, как бедный ученик, которого пытается жестокий экзаменатор, а он, хотя и хорошо знает вопрос, блуждает во тьме, волнение подавляет его, и он стоит как пень и молчит. Однако, не в силах отбросить мысль, что посещение квартиры было не случайным, она стала думать, что все это он говорит лишь для того, чтобы возбудить в ней противоположные аргументы и услышать их из ее собственных уст. Она поддалась этому очарованию, этому своеобразному безумству, этой безрассудной грезе... Она сочла за лучшее восславить теперь не супругу, а ребенка.

– Да, но дети! Как такой мужчина, как вы, Косталь, представляющий собой нечто вроде бога-оплодотворителя, может обойтись без детей? Позвольте признаться: это меня всегда изумляло. Этого не хватает вашей личности. С точки зрения вашего творчества — какого богатства вы себя лишаете!

Каждое слово, высказанное раньше, «бог-оплодотворитель» парировал: яростные удары рапиры, каждый раз попадающие в цель.

191

Сейчас он впервые не ответил. Она сочла, что задела уязвимое место, повернула к нему голову, увидела его поднятое лило, его светлые глаза; ей показалось, что в этих глазах мелькнуло выражение печали, столь волнующее для такого чересчур самоуверенного мужчины. О! Как она его обожала, когда видела ослабевшим!

– Ваш сын, Косталь! Его ручонки вокруг вашей шеи... Его потребность в вас... Все нравоучения, которые вы бросаете в пустоту, для толпы безразличных, собираются на одном существе, плоти от вашей плоти, любимой вами... Нет, вы не полноценный мужчина, раз не знаете этого чувства. Но я чувствую, что вы о нем сожалеете. Нет! Не отрицайте! Вы не можете его утаить от меня. У женщин такая интуиция, знаете...

Он был как оглушенный боксер, не возвращающий больше ударов; и все еще с глазами, устремленными в пустоту; глазами, в которых Андре чудилось нечто побежденное. К ней вернулась уверенность, и она перешла от ребенка к себе самой. Темнота, возможность не смотреть ему в лицо придавали ей смелость. Она следила лишь за двумя тенями, одной подле другой: они появлялись, поворачивались, исчезали, вновь возрождались, следуя игре фонарей. И она находила это восхитительным. Она продолжала воображать, что способна что-то «узнать».

– Иногда я думаю, что, несмотря на все ваши слова, вы нуждаетесь в любви, вы хотите быть любимым, вопреки всем вашим хулам. Что-то подсказывает мне, что вы перестанете быть таким безжалостным. Вы себя выдали, Косталь, без вашего ведома. Я видела взгляд ваш печальный, когда говорила об этом несуществующем сыне, о бесплодии ваших страстей. Что-то подсказывает мне, что вы тоскуете и по другой нежности. Я понимаю: это мучительно, когда вас мало любят. Но я, например, разве я вас мало люблю? Разве моя привязанность кажется вам оковами, а не нежностью? Разве вы не понимаете, что это самая горячая и самая страстная любовь, способность к самоотречению и самопожертвованию? Позвольте вас любить... Чтобы уже не сдерживать себя из страха вам разонравиться, не произносить «привязанность», когда я думаю «любовь». Что я хочу? Больше тепла, больше жизни, больше действия. О! Делать для вас массу полезного! Массу! Не уезжать через три недели... с таким «багажом»... Ведь то, что мне хватает здесь, едва я окажусь вдалеке... Я хотела бы, например, чтобы вы меня называли по имени или хотя бы «милая подруга». «Дорогая

мадмуазель» в течение четырех лет! Словно вы говорите с вашим учителем музыки. Чтобы вы мне писали больше, несколько слов каждые полмесяца. (Я у вас прошу так мало!). Чтобы вы относились ко мне как к девочке, пусть даже она глупенькая и капризная. Чтобы мы встречались в иных, более интересных местах, более соответствующих вашему образу: в садах, за городом, в музеях... Не знаю толком, чего бы я хотела... Я не хочу больше того, что было, что есть и чего вы хотите. Я не требую долговременности, но

192

лишь того, чтобы, пока это длится, я могла бы наслаждаться вами больше, была бы к вам ближе. И еще я желала бы, чтобы вы ответили на один вопрос, принесла ли вам моя нежность хоть немного счастья? Имею ли я право думать, что чуточку необходима вам? Вы почувствовали себя менее одиноким благодаря этой уверенности, что я вам принесла: что вы страстно поняты и любимы, любимы во всем своем самом глубинном и в малейших пустяках, в вашей иронии, ребячествах, вплоть до ваших злых поступков, да простит меня Бог! Если вы не дадите мне ужасного ответа Сатаны — Элоа, я уже буду счастлива.

«В каких же фантазмах она живет! — думал Косталь. — Нежность Андре Акбо, дающей мне счастье!.. Ее яростное отрицание очевидного. И другая, чисто женская ярость: желание, чтобы я был несчастен, чтобы иметь возможность меня утешать. И это она меня утешила бы от мнимого несчастья, когда сама и ей подобные, то есть женщины, дарят любовь, о которой их не просили; когда именно они отравляют в значительной мере мое счастье! Нет, все это слишком комично. В то же время это достойно уважения и жалости. Как выпутаться из этого, не причиняя ей боли?» Мысль о боли, которую он может причинить, сказав ей просто — одной фразой — то, что есть, парализовывала его, как мужчину, который забавляется боксом с ребенком и почти не осмеливается шевелиться из страха покалечить его. «О! Как глупа эта девица! В какой переплет я попал, назначив ей это свидание!» Он продолжал увлекать ее своим размашистым шагом. Одну за другой, за двадцать минут, они прошли темные и почти безлюдные улицы (улицы Христофора Колумба, Жоржа Визе, Магеллана и т.д.). На этих улицах с домами буржуа и частными отелями — очень мало магазинов, поэтому они на три четверти были погружены во мрак. Изредка попадались прохожие, скрюченные от холода; вдоль тротуара стояли автомобили. Андре спрашивала себя, почему Косталь не приглашает ее на чашку чая домой или в кафе, как сделал бы на его месте каждый. Но нет, иди! иди! (Косталь, действительно, подумал о кафе. Но накануне, в ресторане, Андре застряла в дверях и не могла ни войти, ни выйти; официанты смеялись; и она была так уродлива и так безвкусно одета, что ему стало стыдно за нее. Пусть уж лучше она подцепит воспаление легких, чем он испытает по ее вине укол тщеславия.) Каждая улица, по которой они шли, казалась девушке темнее предыдущих, и, хотя она сначала силилась не замечать просвета среди воображаемых облаков, кончилось тем, что она поверила: Косталь не останавливается, как Вечный Жид, потому лишь, что ищет укромное место, он хочет ее поцеловать; конечно же, это кружение продолжается потому, что он не осмеливается. Доказательство истинности его чувства. Когда они достигли улицы Кеплера, особенно темной и безлюдной, она не сомневалась, что именно здесь решится ее судьба. Она никогда не забудет некоторых деталей: возле шофера в остановившемся лимузине сидела собака-грифон и смотрела на нее с пристальностью человека; качающийся над мостовой

193

фонарь, словно лампа жертвенника... Но коварную улицу они покинули без всяких происшествий. И тогда Косталь сказал:

— Я выслушал вас с большим интересом. Ваши слова меня весьма тронули. Однако я вам уже ответил. Наша дружба была чрезвычайно приятной вещью. Но сердце портит всё. В дружбе или в чувственности всё здраво; раны, если образуются, — чисты. Но приходит сердце, и рана растет, всё густеет. Сколько раз я это замечал!

– То, что вы говорите, абсурдно. Сердце ничего не портит; напротив — всё очищает. В конце концов, это идиотизм! Чистой будет «область чувственности»! Если бы я внушила вам безумную физическую страсть, вы бы мне простили. Быть вызывающей, заставить вас понять, что я ищу только удовольствие... вы бы меня, возможно, презирали, но вы бы приняли. Но подарить вам любовь — какое стеснение, какая скука! Оставьте нас в покое с любовью! Подарить вам любовь как дело моей жизни, жизни непорочной девушки и (я к этому непричастна) несколько возвышенной — как это бесцветно и смешно! Вы не любите мою любовь. Вы не хотите от меня всего, вы хотите чуть-чуть. А я... я не имею права дать вам больше. Вы относились ко мне как к сестре. Словно султан, вытаскивающий из толпы фаворитку или визиря, вы уступили мне возле себя почетное место и хотите, чтобы я оставалась там, не возвышая голоса, довольствуясь тем, что вы мне жалуете с восхитительной щедростью, но чего мне уже недостаточно. Иметь право лишь на дружбу! Прекрасную, даже изумительную — вашу — мягкую, утешительную, трогательную, братскую, но недостаточную, недостаточную! Существовать возле вас из дружбы — я больше не могу, я просто не выдержу. Во мне есть что-то, превышающее всё это. Ах, настолько превышающее! Сколько лишних сил — и всё впустую. Желание подарить переполняет меня. Я прощу все и под «всем» не подразумевается, чтобы вы непременно вышли из состояния незаинтересованности, которое вам столь хорошо удается («А, — подумал он, — острие горечи! Вот вам мышка, требующая, чтобы ее сожрали. Это тоже следовало ожидать»). Нет, я искренна, когда повторяю вам — я говорила это тысячу раз — что вы никогда не касались во мне источника тайных чувств или же касались бегло, когда были любезны, мягки. Я прошу права вас любить, вас боготворить изо всех сил, всей душой. Ваша холодность всегда сдерживала это. Я не могу вас любить, если вы этого не хотите.

– Стоит ли умышленно дарить мне любовь, на которую я не сумею ответить? Что вы хотите: я истощил свои чувства. Я все отдал первой любви в шестнадцать лет. С семнадцати я ответил бы вам, как сегодня: «Дружба — да. Любовь, экстаз и прочий арсенал — слишком поздно».

– Слишком поздно! Опять те же слова, которые меня казнят: «слишком поздно!» Полноте, моя жизнь кончена...»

Он пожалел ее. Он сказал ей серьезно:

– Когда мне было семнадцать лет и я делал первые шаги в свете, я

194

тотчас принялся флиртовать направо и налево, и помню, как мать сказала: «Не следует воспалять девушек, если не имеешь серьезных намерений. Это неблагородно». Я готов спросить себя: не провинился ли я перед вами.

– Вы несколько не провинились передо мной, боже упаси; никакой умышленной вины. Вы самый честный человек...

– Я честный?... Да я всегда лгу.

Он недоумевал. Почему у него вырвалось это восклицание? Он почувствовал, как к щекам подступает густой румянец, и опустил голову.

– Конечно, вы иногда лжете, как и все. Но это не мешает вам быть самым честным, самым благородным.

– Опять мое благородство! Кончится тем, что невзлюблю себя, наслушавшись от вас про мое благородство, а это будет очень скучно, если я себя невзлюблю. Отвечу вам, как слуге-итальянцу, который когда-то служил какому-то князю и в первое время службы у меня талдычил: «Не желаете ли Ваша Честь. Думая, что Вашей Чести будет лучше...» В конце

концов, выведенный из терпения, я сказал ему: «Не говорите постоянно о моей чести. Кончится тем, что она придет».

– Как вы невыносимы! Постоянно шутите в самые патетические минуты... Ну хорошо, хотите или нет, но я повторю: вы совершенно честный человек. Но вы в отношении меня виноваты, допустив одну неосторожность: не следовало позволять мне заходить так далеко.

Он чуть не ответил: «Разве я не давал вам столько доказательств своего безразличия?» Но не осмелился. Он сказал:

– Следовательно, дружба между молодым мужчиной и молодой женщиной невозможна?

– Род бессилия, именуемого дружбой, в некоторых случаях возможен. Например, с совершенно молоденькой девушкой. Если бы мне было восемнадцать, ничего лучшего, чем теперь, я не желала бы; мужская дружба, да еще с вами — это была бы мечта. Но я женщина, чей возраст, одиночество, волнение, нужда, жажда любви вам известны; обладающая в вашем лице столь великолепным другом... и вы хотите, чтобы она не пришла к любви? Я вам предложила любовь. Вы ее отвергли. Но когда я вас известила о приезде в Париж... вместо того, чтобы дать мне понять, что не желаете меня видеть, как вам следовало сделать («Вот мне благодарность!» — подумал Косталь), вы пригласили меня обедать. Вы поощряли мои мысли о вас; вы показали, что я вам небезразлична («Эта штучка твердолоба!»); вы сделали всё возможное, чтобы я привязалась к вам всем сердцем. Ведь отказывая, вы себя выдали, милостивый государь. И этого вы не желаете замечать. Позволять себя любить — это уже любить. Напрасно вы думаете, что дар заключается в обещаниях или ласках. Вы себя подарили без обещаний и ласк, но столь же явно, со всем вашим легкомыслием, полным чистосердечия... Знаете ли, в чем вы виноваты, друг мой? В том, что не были злы ко мне.

195

– Э! Да мы глубокомысленны! Итак, вот в чем дело: я «слишком любезен»?

– Да, вы «слишком любезны». Впредь, в ваших отношениях с женщинами, не будьте «слишком любезны», Косталь. Из жалости к ним. И, кроме того, зарубите себе на носу: «Никакой дружбы с девушками». Потому что каждая поверит, что вы предпочитаете ее. И потому что вы бессознательно будете внушать каждой иллюзию, что предпочитаете ее. Даже если вы не стремитесь соблазнить, вы действуете как соблазнитель. Вольно удивляться и сердиться, причем чистосердечно, когда зло совершено; в вас есть такое поразительное самодовольство! Это оно, вероятно, все мутит.

– Я не могу, однако, не признать, что есть тысячи мужчин, столь же умных, как я, и куда привлекательней. Поищите, и вы, наверняка найдете того, кто ответит на ваши чувства, оценив вас по достоинству.

– Вы невыносимы! Хочется встряхнуть вас. Я столько твержу вам, что женщина любит только один раз и что для меня вы — «этот раз», что вы незаменимы. Вы не хотите видеть реальности: моя настоящая жизнь — это моя любовь к вам.

– Не знаю, кто из нас двоих не хочет видеть реальности, — мягко сказал он.

– И потом, хорошенький ответ: «Ищите в другом месте», женщине, которая вам говорит: «Я люблю вас больше жизни». Или, вернее, «Вы есть моя жизнь, просто-напросто».

– Вам повезло, что вы смотрите на вещи просто. Я вот нахожу, что мы в полном соку: настоящее лакомство для котов.

– Вы говорите о любви, как ребенок. Постыдились бы за свои ребячества в таком вопросе.

– Мужчина без ребячеств — чудовище.

– А вы... вы чудовище из-за избытка ребячливости.

Ее голос был полон слез. Косталь сказал более ласковым тоном:

– Вы абсурдны, моя бедная девочка, наделив меня властью причинять вам страдание. Знаете, в каком случае я пожалел бы вас? Если бы мог вам говорить все самое жестокое, все самое ранящее, а вы при этом не чувствовали бы ни малейшей боли.

В ответ она пожала плечами. Все же добавила:

– «Моя бедная девочка». Внимание! Не начинаете ли вы быть «слишком любезным»?

– А-а! Ну хорошо, в конце концов вы мне надоели! Если я груб — не годится. Если любезен — не годится. Мне это «лакомство для котов» начинает осточертевать. Для чего я здесь, наконец?

Сентиментальный кастет, которым женщины стремятся оглушить любого приблизившегося к ним мужчину... Косталь никогда не поддавался, даже тем, кого любил. А этой, безразличной ему женщине!..

Но для Андре это было чересчур. Слезы хлынули.

196

– Да ну же, дорогая! Успокойтесь. Если бы женщины знали, что теряют со своим хныканьем! Мужчина должен быть святым, чтобы, видя их ранеными, не возыметь желание ранить еще больше. Но я этот святой. Хотя... Женщину нужно бесконечно просвещать... Я хочу сказать: нужно постоянно растолковывать ей что-то. Просвещать, щадить, успокаивать, холить, утешать. По правде сказать, у меня нет таланта сиделки или хранителя ящика с фарфором. Я люблю, когда сердечные дела делаются без обмана, без хвастовства, без принуждения; и чтобы в жизни было еще что-то. Думаю, что, чем более искренне любят, тем меньше об этом болтают. Мерзкая девчонка, так вы хотите, чтобы вас прикончили!.. (Он схватил ее за руку. Переходя в беспамятстве улицу, она чуть не угодила под колеса автомобиля). Э! Да вам повезло, что я не подтолкнул вас! У меня это нечто вроде рефлекса: когда я с женщиной и нас касается машина, — толкать ее под колеса. Причем тех, кого я очень люблю. А сейчас я воспротивился рефлексу. Вы видите, у меня был рефлекс вас защитить. А вы еще жалуетесь!..

– Да нет, Косталь, я не жалуясь. Я знаю, что вы меня очень любите. Иногда я вас воспринимаю как доброго гения-отца и чувствую, насколько прекрасно быть целиком созданной или воссозданной вами. Разве я упрекала вас? Если да, забудьте об этом. Не знаю, до какой глупости я договорилась... Сегодня я сама не своя... Я не хочу вас обязывать. Даже если чудо даст мне когда-либо право на вас, я не хотела бы между нами иных уз, чем нежность; никогда не приняла бы ни вашей жалости, ни милосердия, как в цветочнице...

«Она не хочет того единственного, что я могу ей дать, — думал Косталь. — А что это за «чудо, дающее право на меня»? Что за новая химера ее оседлала?»

Возможно, уже в третий или в четвертый раз они обходили сквер Соединенных Штатов, отмеченный легким шагом графинь, статуями Освободителей, Благодетелей и Энтузиастов. Листья бружмеля блестели в ночной черноте, будто слуги ложили каждое утро кустарник перед домом их благородных хозяев. Окна с закрытыми ставнями напоминали перегородки ящиков в подвале банка. Несколько бедняков казались среди этих буржуазных декораций военнопленными, работающими на неприятеля: угольщики, очень черные, которым платили

за уродство; мальчик-мясник, разносящий мясо графиням, проскальзывает снизу в дверцу, похожую на кошачий лаз. Все это видел Косталь, потому что он был спокоен; Андре... она не замечала ничего. Романисты всех времен расписывают обстановку, в которой встречаются их любовники; но только романисты видят детали этой обстановки — любовники, поглощенные «лакомством для котом», не видят ничего.

От сквера Соединенных Штатов Андре сохранила в памяти только темноту качающейся зелени, пустынные аллеи, которые терялись в ней, этот почти подозрительный закоулок со скамейками (прямо за

197

статуей Энтузиаста), и ее безумные идеи возвращались: очутиться в гуще этих боскетов, в разгар ночи, с этим мужчиной; неважно, обнимает он ее или нет: не случайно он завел ее сюда. И он ее назвал «моя дорогая». Говорят ли «моя дорогая» той, что безразлична, женщине, с которой не находишься в определенной близости? Возможно, и да (когда живешь в Сэн-Леонаре, кончается тем, что не знаешь, что происходит, а чего не происходит). И он взял ее за руку. «Мерзкая девчонка». Впервые он ее коснулся (В эту минуту она подняла глаза, желая отыскать табличку с названием улицы, чтобы всю жизнь память была связана с этим священным местом.) Она стала думать, что он долго держал ее за руку, как-то особо сжимая ее, и что он произнес «мерзкая девчонка» не без оттенка нежности. Вся ее недавняя пронизательность: «Вы даете каждой из них ощущение, что предпочитаете именно ее» — померкла, как небо, которое затянулось. Ей страстно хотелось, чтобы он взял ее за руку или осмелиться взять его руку. Но они удалялись от этого места с темными кустарниками, и надежда ее рухнула. Куда же он ее еще ведет? Возобновится ли эта ужасная скачка по улицам, где попадают только аптекари или цветоводы. (Возможно, символ господствующего класса.

Примечание автора.) Один раз она пожаловалась на холод, но он ответил ласково: «Небольшой сухой морозец... Очень оздоравливает!»

— И все же необходимо, — сказал он, — исследовать, распутать проблему «дружбы» мужчины и женщины.

— Да нет, оставим все это, не стоит...

— Следовательно, вот образованная и остроумная — остроумная в определенное время — девушка, которая воспитала себя сама, которая знает мое творчество лучше меня и знает его по-умному; вдобавок ко всему — достойная девушка; я придаю слову достойная большое значение. Она прозябает в Сэн-Леонаре (Луаре), то есть в ничего не значащей дыре.

— Извините, — сказала она с улыбкой, — В Сэн-Леонаре (Луаре) 3.180 жителей, есть имеющие важное значение прядильни, а также — это родина великого агронома Левеллэ...

Теперь она старалась подделаться под его тон, чувствовала всю смехотворность понятия «быть женщиной», находила, что он был прав, являясь парнем, хорошо себя чувствующим и веселым, созданным для дружбы с парнями или легких приключений, и виноват лишь в том, что слишком уж вровень с другими, недостаточно верит в себя.

— Я симпатизирую этой интересной девушке, и она этого достойна. Она вроде бы от этого счастлива. Она повторяет на все лады не один год, что я ее спас, «доставлял ей только радость» («Видите, я тоже знаю ваши письма наизусть», — обронил он, снова поддавшись Демону неосторожности). В один прекрасный день я замечаю, что она любит меня и что я не смог бы ответить на ее любовь с той же силой, потому что я создан не для любви, а для удовольствия (да, а что вы

хотите: я люблю удовольствие, и мне от этого хорошо). Тогда я беру свое первоклассное перо и пишу: «Дорогая мадмуазель, имею сожаление заметить, что вы готовы меня полюбить. Не отпирайтесь: я увидел это своим рысьим глазом; похож я или нет на нашего великого психолога? С сегодняшнего дня — слуга покорный. Я вам больше не напишу. Я буду возвращать ваши письма нераспечатанными. Когда вы приедете в Париж — «Мсье отсутствует». Я вам открыл дверь к счастью, я ее закрываю. Я вас вытащил из родного гнезда великого агронома Левеллэ, я вас туда и отправляю. Прощайте, дорогая мадмуазель. Будьте здоровы». Прошу вас хладнокровно поразмыслить: о чем бы вы подумали, если бы получили подобное письмо? Не отвечаете? Ну хорошо, вы подумали бы: «Это свинья. Хороша же его дружба, если он способен сломать ее в секунду! А какой фат! Думает, что все женщины желают повиснуть на его шее. Вот вам и мужчины. Им говорят о дружбе. Они усматривают секс. А потом они бросают упрек, что мы только об этом и думаем». Боль, которую вы испытываете сегодня, вы испытали бы еще тогда, иначе и быть не могло. Почему же я не написал такое письмо? Потому что не собирался терять вашу дружбу, потому что знал, что моя дружба будет вам опорой, а еще потому, что мне было бы страшно нанести вам ножевой удар. Итак, разве я поступил плохо, не порвав с вами?

– Нет-нет, я знаю, что вы добры.

– Каждый раз, когда вы будете говорить о моей доброте, у вас будет залог.

– О, какой вы злой! — сказала она с усмешкой.

Это правда: она уже не знала, добрый он или злой. Теперь ей казалось, что, скорее, виновата она. Но все спуталось, в голове был туман. Что она хотела — так это очутиться в отеле, наедине с собой, чтобы сцедить счастье и боль, пролитые им, и посмотреть, что всплывет от счастья, а что от боли. Но больше всего ей не хотелось мерзнуть. Однако в отеле ей было бы тоже холодно. Она повторяла про себя слова Косталя: «Холод — болезнь планеты», а кроме того, слова Св. Терезы, кажущиеся столь простыми, но в реальности — патетические: «Вы не знаете, что значит испытывать холод семь лет подряд». Она была измучена (они шли уже два часа), и усталость пятнала ей мозг, болели веки, она чувствовала, как подступает мигрень, и думала: «Во что выльется этот вечер!» Но не она оборвет эту явь, что в течение долгих месяцев вымаливала в Сэн-Леонаре. Скорее, она упадет на тротуар, разбитая, чем даст повод к «До свидания, дорогая мадмуазель. Я извещу вас на днях».

Улица Марсо; северный ветер с глупой напыщенностью вырывался из каждой поперечной улицы. С вершины авеню Петра I Елисейские поля внизу казались долиной света. Она страстно желала, чтобы он захотел туда спуститься. Она бы согрелась от этих огней, от этих людей, от этого шума, движения, роскоши; они зашли бы в кафе, где послушали бы музыку; она показала бы ему магазин, где есть «анса-

мбли» за 390 франков, сказочные, если подумать, что они вышли от великого портного... но нет, невозможно, это могло показаться просьбой... Внезапно, в первый раз, она заметила, что он и не подумал подарить ей букетик за несколько франков, купив у одной из многочисленных цветочниц, мимо которых они проходили. Но нет, даже букетик фиалок, о которых имел деликатность сказать ей, что покупает их «для своих милых подружек». Впрочем, он никогда не дарил ей ничего, кроме книг — о! здесь он был щедрым. («Не правда ли, я интеллектуалка!.. так вот!..») Она переборола неожиданную горечь, вызванную этой мыслью, сочтя ее наивной и вульгарной. Но Косталь повернулся спиной к Елисейским полям, к Земле Обетованной, вновь углубляясь в какую-то ужасную улочку, словно испытывал удовольствие от этих скачков зверя по клетке, от этой хаотичной и кошмарной беготни, подобной беготне

грешников в аду. Почти отключившись, с болью и усталостью в ногах, шмыгая носом («Конечно, у меня красный нос»), кусая губы, которые, должно быть, холод и мука обескровили, испытывая жгучее желание пописать, она слушала его разглагольствования («разглагольствование» — слово, пришедшее ей в голову, настолько она от него устала):

– Согласно вашей теории, это великолепное царство дружбы между мужчиной и женщиной должно быть запретной зоной! Женщина останется в области «сердце-чувство», неспособная подняться в мир более тонкий и благородный. Наконец, от страха их разочаровать, мужчина должен откзаться от всякого общения с молодыми женщинами, которых не предназначает к постели, неважно: законной или незаконной, то есть вопреки всему; с бесконечным множеством женщин. Он должен проходить мимо них поспешно, опустив глаза, словно семинарист: «Noli me tangere¹, сударыни! Ведь вы бы подумали, возможно, что я вас люблю. А я нахожусь в тысяче лье, не желая вас оскорбить». Или как молодые кабилы. Один кабил мне рассказывал, что в его деревне, когда мальчики достигают пятнадцати лет и еще не женаты, родители отправляют их в Алжир, чтобы они не были предметом волнения для девушек этой деревни. И когда они возвращаются на несколько дней в деревню (на похороны, на свадьбу или праздник Аида), они должны, проходя, громко произносить: «Трек, трек, трек», чтобы девушки, услышав это, прятались, настолько мальчик является для них искусителем. Впредь я тоже буду говорить «трек, трек, трек», чтобы девушки сторонились. Или, скорее, обзаведусь трещоткой, как прокаженные...

Он произнес еще одну неприятную фразу: «Девушки, как бездомные собаки, на которых вы не можете посмотреть хоть чуточку благожелательно, не опасаясь, что, повилывая хвостом, они повиснут у вас на брюках». Он вышивал по этой канве. Как всегда, когда он находился с

1 Не тронь меня

(лат.).

200

безразличными ему людьми или когда он им писал, Косталь говорил все, что приходило в голову (Андре никогда не подозревала об этой особенности). Так же, как для матадоров недействительны любые успехи или неприятности, происходящие с ними не на аренах, для Косталя, врожденного писателя, реально существовал единственный способ самовыражения: книга. Беседа, переписка — все это область досуга, разрядки; он говорил тогда черт знает что; все это было не в счет.

Внезапно он остановился.

– Вы понимаете, о чем я вам говорю?

– Разумеется!

– А вот я ничего не понимаю. Уже несколько минут это не имеет никакого смысла: все пустые фразы. Если вы этого не чувствуете, для чего, спрашивается, говорить? Короче, — заключил он, — по вашему мнению, мой долг заключается в разрыве отношений, и я только очень запоздал сделать это легко... Я не могу дать вам то, что вы ждете. Следовательно, прекратим знакомство.

– Нет! Нет! — вскричала она, стряхнув оцепенение, — теперь вы не имеете права меня бросать. Вы ведь шутите.

«Не имею больше права! — подумал он. — Я ведь всегда говорил: самое сложное в милосердии — это последовательность». Словно догадавшись, о чем он думает, она сказала:

– Любить в залог, отдавать в залог. Не имеют права любить человека так же, как оказывают благодеяние, анонимно, не желая войти в его жизнь...

– Останемся же в прежних отношениях. Только впредь не жалуйтесь. Вы сами создаете неудобства.

– Я больше ни на что не пожалуюсь, обещаю это торжественно. Хочу лишь одного: не терять вас. Дело в том, — сказала она напрямик, — что вы мужчина, который всегда бросал сам и которого никогда не бросали. Это чувствуется.

– Неправда. Меня дважды бросали по-свински.

– И это было мучительно?

– Нет. Я счел абсолютно естественным то, что кому-то осточертел. Я слишком часто испытывал это сам. Когда я вижу женщину, с которой несколько месяцев был близок и которая не сегодня-завтра меня бросит, у которой одно желание: не иметь со мной ничего общего, я узнаю себя.

Она молчала, ошеломленная, но он продолжал:

– Черт! Нам пора расстаться. Уже около десяти, а я в восемь приглашен на ужин.

– Мы еще увидимся? — спросила она, не способная ни на что, кроме банальных фраз.

– Ну да, я вас извещу.

– Ведь если я вам напишу, вы мне, может, и не ответите. Вы никогда не давали мне свой номер телефона.

– Я думал, вам не на что больше жаловаться.

201

– Простите.

– Я дал бы вам свой телефон, но это бесполезно, потому что он все равно отключен: тишина меня успокаивает. И знаете, кто меня вынудил к этой мере, досадной для друзей и деловых людей, желающих со мной поговорить, и смущающей меня, поскольку я рискую прозевать многие полезные вещи? Женщины, исключительно женщины. Женщины со своими всегда пустыми, ежедневными и полужедневными разговорами, на четверть часа каждая. И особая категория женщин, самых страшных: тех, кто меня любит, и кого я не люблю. Результат: я получаю по три телеграммы в день, разумеется, пустых. А ничто так не приводит в отчаяние, как убийственные послания людей, которых не любишь, когда каждую секунду ждешь почтальона с письмом от того, кого любишь. Итак, дорогая мадмуазель, до свидания, и не простудитесь.

Он говорил с ней тоном, который ее оледенил до такой степени, что она спрашивала себя, не упадет ли она в обморок; машинально протянула руку. Больше она не реагировала.

Она отошла. Он позвал:

– Эй!

Она остановилась. Он приблизился. По его лицу безостановочно проходили чередующиеся выражения благородства и свинства, важности и насмешки. Это правда: он чувствовал себя более подвижным по сравнению с ней, он скакал, как гадкий пес вокруг барашка с

великолепным запахом.

– Разве я свинья?

– Не знаю. Оставьте меня... Оставьте...

– До свиданья.

Он отошел, и в нескольких шагах закурил сигарету. Он чувствовал себя на десять лет помолодевшим с тех пор, как она исчезла. Женщина, которая уходит, оставляя его одного, — десять выигранных лет, если он ее не любил. И один-два года, если любил.

* * *

Андре не сомкнула глаз ни на секунду. Она поворачивалась на правый бок, и печаль давила справа, поворачивалась на левый — печаль давила слева, словно шар, который находился внутри. Ей хотелось перекидывать с места на место ноги, изболевшиеся во время той дикой скачки, ей казалось, что она простудилась: очень узкая простыня усиливала муку, все время сползая. Утром она плакала с семи до семи двадцати пяти — сколько в нем одновременно мягкости и жесткости! Любой ценой необходимо узнать, как он к ней относится. Она послала телеграмму, сказав, что плакала с шести до восьми, и «заклиная» позвонить ей в полдень, в отель. Заплатив за телеграмму сорок су, она оставила мелочь почтовому служащему,

202

который пробормотал несколько шуточных слов насчет брошенных женщин.

Косталь не позвонил. Телеграмма вызвала раздражение. При виде одного лишь почерка Андре, он пришел в отчаяние. «Она для меня ничто, я не должен ей ничего, я занимался ею пятьдесят раз, я постоянно приглашаю ее обедать и посвящаю ей два с половиной часа моей жизни; да, два с половиной часа! — я ломаю голову, чтобы, не ранив ее, выйти из смешного положения... А теперь она меня заваливает телеграммами! Слезливыми телеграммами! Не хватало, чтобы я виделся с ней по два часа через два дня! Ну нет, на этот раз нет!» В полдень он послал телеграмму: он вынужден уехать в Безансон к больному дяде. Он напишет ей по возвращении.

Ожидание Андре в этой комнатенке на седьмом этаже жалкого отеля (она спрашивала о ценах в шести отелях, прежде чем остановилась в этом), где ветер просачивался в оконные швы, где ночной столик распространял зловоние, где она нашла клочки засохшей измаранной ваты в ящике. Сидела на единственном стуле возле хилого огня, с наброшенным на плечи манто; она никогда бы не поверила, что способна испытывать такую тоску и такую муку. Знать бы, о чем он думает, боже! Она, конечно, догадывалась, что разозлила его, послав телеграмму, однако не сделать этого было невозможно. Ее разум напоминал испорченные весы. То это было: «Страшная холодина в этих унылых улочках, идти, идти, идти, как проклятье, и все его слова, как нож, расковыривающий рану». То, напротив, преувеличивая и все придумывая: «Эти минуты будут единственными счастливыми в моей жизни. Даже в своей болтовне он был столь добр, столь нежно-важен, может, без своего ведома. Он страдал от того, что нет ребенка, он доверял, он, кажется, хотел, чтобы его пожалели. Какой он был трогательный, когда говорил о матери! Говорил ли он о матери с другой женщиной?»

Подобно тому, как она думала, что Косталь доверился ей, тогда как он не делал ничего другого, как говорил для самого себя, ни больше ни меньше, чем когда проституировал себя полусотне тысяч читателей. Она чистосердечно воображала, что при обмене с ним рукопожатием, он, а не она задержал ее руку в своей. Ей казалось, что она слышала клацанье по асфальту его «шагов немецкого офицера»; ей казалось, что она видит, как он ее слушает с «неуловимой улыбкой богов» на губах. Мысль, что он замышлял женитьбу на ней,

возможно, вследствие скачка воображения, показалась ей менее правдоподобной, чем накануне, и все же: «Я чувствую, что недостойна подобной участи; я осознаю, что нас разделяют социальные условия; я ни романтична, ни безумна. Следовательно, есть что-то, раз эта возможность, о которой я никогда, нет, никогда не мечтала, вдруг показалась вероятной». Дошло до того, что она стала страстно желать, чтобы они снова пошли вечером по этим темным улицам, пошли так, чтобы она запросила пощады, и то, что минутой раньше казалось ей

203

«жестоким» и «печальным», сейчас стало тем, за что цеплялась ее надежда.

В полдвенадцатого она спустилась в бюро отеля и стала ждать телефонного звонка, не отводя взгляд от часов. Ничего. В час она поднялась в комнату не в силах позавтракать и еще подождала. В Париж она приехала на месяц и поэтому желала, чтобы время шло. В два получила телеграмму от Косталья и почувала ложь. Она побежала на авеню Анри-Мартен и сначала спросила у консьержа:

– Господин Косталь в Париже?

– Да, мадмуазель.

Но на этаже слуга сказал:

– Г-н Косталь в Безансоне.

На следующее утро она вернулась на авеню Анри-Мартен: она не сомневалась, что он там. Она желала какого-нибудь вердикта, даже самого страшного, чтобы быть уверенной или чтобы умереть.

– Господин Косталь не вернулся?

– Нет, мадмуазель. Мы не знаем, когда он вернется.

Она вышла; бродила, не в силах покинуть квартал, всюду ища Косталья взглядом, питаюсь горькой мыслью: он — здесь, она — здесь, а дни текут зря, как и в Сэн-Леонаре, и завтра нужно будет вернуться в беспросветный ад одиночества и отчаяния. Это бешеное кружение (решительно она была создана для скачек по улицам!..) было не столько желанием встретить Косталья, сколько своего рода опиумом: находясь без дела в комнате отеля, она, возможно, впала бы в истерику. Она вошла в церковь, названия которой не знала, и оставалась там час, наполовину оледеневшая, повторяя: «О, нет, Бог не может заставить страдать больше, чем страдает человек». Она написала эту фразу на обрывке бумаги, которую нашла в сумке, купила конверт за один су, вложила и понесла консьержу Косталья.

Она около часа бродила перед домом. Так, находясь в Париже в то время, когда Косталь путешествовал, она почти все вечера проводила под его окнами, смотря, не освещены ли они. Она побледнела, заметив мужчину, которого приняла за Косталья. Она оказалась перед витриной магазина и утратилась своей уродливости: «Боже, что ты со мной сделал! Кто эта особа?» (она не подумала о Боге, когда была в церкви). Она повстречала продавщицу фиалок, купила букетик («Буду щедрее его») и, поднявшись в дом Косталья, положила на лестничную площадку перед дверью его квартиры. Спустившись, поняла с запозданием, что ее жест не принесет ничего, кроме вреда, что слуга обнаружит цветы и станет над ней насмехаться, и она решила взять его обратно. Но тогда в пятый раз за два дня она бы попала консьержу на глаза... Она не осмелилась.

Наступила ночь, замерзшая Андре направилась к метро. Какое искушение взять такси! Она

сделала бы это при небольшом расстоянии. Но ее отель находился так далеко, что это обошлось бы по меньшей мере в двенадцать франков. Внезапно одуматься в разгар

204

душевной бури, чтобы сделать подсчет, — в этом была вся ее жизнь. В метро на нее смотрели: грусть видна на вас, как одежда. Она, вся доброта, слабость и беспомощность, почувствовала, как ее переполняет жалость; она уступила место — бессознательно, поскольку ничего не видела, — стоящему старику. Она избавилась от метро в безумном состоянии, уstraшенная этими переходами, этими скачками к автоматическим дверям, которые захлопывались перед самым носом, этими дверями, которые управляют вами, как скотом, словно вы являетесь стадом свиней, которых сортируют машины на американских заводах; ей показалось, что она падает в обморок: бесконечная усталость, умственное напряжение, бессонная ночь, к тому же она не завтракала; ей казалось, что держится только за счет биения сердца. Ее веки набухли. Все беспокойство и напряжение сосредоточились, казалось, на боли в глазных яблоках. У стойки быстро она заказала кофе, несмотря на страх, что ее примут за шлюху. Рядом толпились рабочие. Чтобы схватить стакан, она была вынуждена оставаться сзади, с вытянутой рукой, сжатая двумя мужчинами, но это было необходимо: без кофе она бы не устояла на ногах. Внезапно один из рабочих ей улыбнулся, и эта улыбка вернула ее к жизни. Это длилось мгновение. На улице мука возобновилась.

В комнате отеля она заметила, что у нее украли флакон духов за сорок франков; в последние дни эти духи были ее единственным утешением; она их вдыхала, когда была особенно взволнованна. От гарсона она узнала, что ей начислили плату за комнату на три франка в день больше, чем другим (не потому ли, что она выглядела как шикарная женщина). Она принимала удары, как больная курица, которую клюет весь птичий двор.

Она весело растратила бы сотни франков за один день, если была бы счастлива. В несчастье же это ощущение истраченных или потерянных денег ее буквально угнетало; в иные моменты она думала, что покинет Париж только для того, чтобы прекратить их утечку.

Она заплакала. Слезы неуверенности — это слишком глупо! Но в конце концов придет время выплакать их. Она стала воображать, что он навязывал ей испытание, злую шутку, чтобы завтра ослепить ее тем большим счастьем, чем острее было сегодняшнее страдание. Она охарактеризовала его так, как господина де Шавиньи в «Капризе»: «Он злой, но неплохой». Кончилось тем, что она извлекла из своего страдания нечто положительное; это было решающее испытание: теперь она узнала еще лучше, насколько она любит этого человека и насколько сильна ее любовь, раз она вынесла все это. Потому что в ее жасные сомнения на его счет не вкрадывалось ни капли злопамятства или гнева. Так она его любила, не понимая.

Еще она думала: «Все, что может со мной произойти, будет раем по сравнению с этими днями». Несмотря на сверлящую головную боль, не покидающую ее целых два дня, против которой были бы бессильны любые таблетки, она было села писать ему длинное пись-

205

мо, царапая такую равнодушную бумагу. Но тусклая лампа была очень высоко, и Андре пришлось от этого отказаться.

На следующее утро, без четверти восемь, Косталь услышал звонок в дверь. Слуга спускался только в восемь часов, к тому же со своим ключом: Косталь вышел из ванной комнаты с мыльной пеной на щеках. Не открывая дверь, спросил:

– Что там такое?

– Это я.

– Кто «я»?

– Андре.

– Андре? Не знаю.

(Он слишком хорошо знал, но хотел ее наказать. Звонить без четверти восемь! И эта записка: «Бог не может заставить страдать больше, чем страдает человек». И эти цветы у двери, как на могильной плите! Предостаточно, чтобы подвергнуться насмешкам соседей! Он выбросил их в помойку немедленно, яростно смяв.

– Андре Акбо.

– Невозможно вам открыть. Я небрит.

– Какая разница! Откройте, прошу вас.

– Нужно сказать: «Ради бога».

– Ради бога.

– Я вам, конечно, открыл бы, только я абсолютно голый.

– Вы отказываетесь меня принять?

– В данный момент — да.

– Это ваше последнее слово?

– Не настаивайте.

– Хорошо. Я уеду поездом в восемь пятьдесят шесть в Сэн-Леонар. Вам больше нечего меня бояться.

– Нет, нет. Я позвоню вам в полдень.

– Да уж, как в тот раз. До свиданья!

Шаги удалились. Через минуту он приоткрыл дверь. Он спрашивал себя: не притаилась ли она на лестнице. Нет, никого. Перед дверью свежие следы мокрых туфель. Всюду — на площадке, словно загнанный зверь забрел в это место.

В одиннадцать часов он позвонил в отель. Ему сказали, что она уехала, заплатив по счету...

Сначала он испытал глубочайшее облегчение. Потом угрызение совести. Она говорила ему, что проведет месяц в Париже; для нее это должно было быть праздником. Этот романист имел слишком профессиональную привычку влезать в шкуру людей, чтобы не почувствовать, насколько она должна страдать. И он был этим тронут. Он написал ей: «Дорогая мадмуазель, ваш внезапный отъезд — загадка для меня. Не могу представить ни на минуту, что это из-за того, что я вас не принял в полвосьмого утра. Моя мать однажды не велела меня к себе пускать. Я был чувствителен, я встревожился, чем я ее рассердил? Когда вечером она вернулась, то приняла меня,

206

обняв, ничего в ее обращении со мной не изменилось. Но не захотела объяснить, почему закрыла дверь. Спустя много лет она призналась: ее рисовая пудра иссыкла, и она не могла меня принять без этой пудры. А мне было четырнадцать лет! Когда она умирала, она

приказала впустить меня к себе только тогда, когда она умрет и ей подвяжут подбородок. Так вот, я был ее сыном. Вы обвиняете меня в том, что я не такой уж фат; однако, в некоторых случаях мне не хватает простоты. В это утро, если бы загорелись на лестнице от взрыва пробки или чего-нибудь еще, я не смог бы прийти на помощь, потому что бы небрит. Заметьте: тот факт, что я был голый, ничего не значит. Вы, конечно, знаете, как сложен мужчина, вы должны были видеть статуи. А впрочем, я был одет.

Ваш абсурдный отъезд лишает меня удовольствия сводить вас на выставку Клода Моне, как я замышлял. Мне бы это доставило истинную радость. Сердечно ваш.»

Как в этом письме чувствовался весь Косталь! Любезность, шуточки и даже оттенок неприличия, которому Андре улыбалась, отнюдь не смущенная. И опять столь волнующие намеки на его мать... Но она не жалела, что вернулась в Сэн-Леонар. Она чувствовала, что, если бы осталась в Париже, он продолжал бы ее мучить. Тогда как это письмо было добрым, оно таинственным образом — да, безотчетно, устранило ее муку. Опять переполненная книгами Косталя, вспоминала она фразу в одной из них: «Удаленность приближает». Почему он так хорошо понимал все, когда писал, а в жизни притворялся непонимающим?

* * *

Спустя несколько дней после этой сцены, утром, Косталь был в Каннах. Из виллы было видно море, все серое после прошедших бурь. Он читал Мальбранша «Поиск истины».

Из соседней комнаты донесся детский голос, что-то напевающий. Косталь поднял голову. Когда он слышал, что сын поет, ему казалось, что дом летает. Иногда отец и сын пели вместе, каждый на своем этаже. Послушав еще немного, он не выдержал и направился в комнату мальчика.

Едва он открыл дверь, голос смолк. Мальчик притворился спящим. Косталью шутка была известна. Как и у всех мальчиков в этом возрасте (через три месяца — четырнадцать лет), шутки и формулы Филиппа были недолговечными и со дня на день могли навсегда исчезнуть, но сейчас в них была назойливость. Но не по песне Косталь узнал, что сын не спит: лицо его было сухим, а когда спал — всегда влажным.

– Открой глаза, осленок, а так тебе пепел от сигареты попадет на лицо.

207

Косталь сел на постель... и подпрыгнул. Он приподнял простыню и нашел рапиру. Филипп открыл для себя фехтование полмесяца назад; он еще не остыл к своему открытию; он спал вместе со своей рапирой, как свежеизбранный кардинал де Майе спал со своей скуфьей, если верить Сен-Симону.

Косталь сел и взял руки сына, которые никогда не были абсолютно чистыми («Мальчик с широкими чистыми руками», — написал он однажды, когда увлекался александрийским стихом), и поцеловал их. У сына было загоревшее лицо, гладкие черные волосы. Спереди на его пижаме гордо светились шоколадные пятна завтраков. Он все еще притворялся спящим. Сразу было видно, что если у него не было крыльев, то потому лишь, что он так пожелал. Разбросанные по полу вокруг кровати, как плевки, лежали монеты (Филипп просил давать ему деньги именно так, чтобы звенеть ими в кармане. «Но почему, в конце концов?» — «Чтобы выглядеть шикарно, черт возьми!»), расческа (сломанная), зеркало (треснутое), ручка (сломанная), портмоне, пустой флакон из-под одеколona — все, чем переполнены карманы мальчишек, из которых этот хлам выскакивает каждый раз, когда они ложатся. Был еще висячий замок, так как Филипп не хотел, чтобы убивали кроликов каждый раз к обеду; шли искать месье, который сам закрывал и открывал крольчатник.

Внезапно Филипп схватил голову отца, притянул и поцеловал. Потом изо всех сил стал сжимать ее руками не как ребенок, который ласкает, а как ребенок, который воображает себя чемпионом кэтча. Существуют упражнения для рук; он любил их больше всего, будучи очень подвижным. На каждое замечание Косталья, говорившего, что он разобьет эту вещь, распотрошит подушку, отвечал: «Это детали» (формула момента). Наконец, Филиппу удалось сжать плечи отца коленями (простыня уже давно отлетела к черту), и в этой позе он наклонился и укусил его за нос.

– Ты сделал мне больно, лопух!

– Ему бо-бо! Девчонка! Ты, девчонка! (и он приставил Косталю рожки).

Вдруг он угомонился, залез под простыню. Косталь поднялся к себе, лег и вернулся к Мальбраншу.

Этот бастард¹ появился у Косталья в двадцать один год. Посредницей он избрал нарушительницу супружеской верности, чтобы не было и речи о ее правах на ребенка. В шесть лет Филипп был доверен старой приятельнице Косталья, м-ль дю Пейрон де Ларшан, пятидесятилетней старой деве, которая испытывала к мальчугану все оттенки материнской любви, без ее главных издержек. Любя также и Косталья как сына, она никогда не была в него влюблена, и это гарантировало крепкость и чистоту ее привязанности. Косталь изобрел эту комбинацию, поскольку ни на миг не допускал, что кто-то другой мог бы

1 незаконнорожденный

(фр.).

208

иметь права на его сына. Он был убежден, кроме того, в пагубном влиянии матерей на своих детей, — мнение, разделяемое многими воспитателями и моралистами, но которые не осмеливаются провозгласить его вслух, боясь шокировать общепринятое мнение, всегда изысканно-галантное по отношению к женщинам.

Филипп жил то в Марселе, то в Каннах. Косталь проводил с ним десять дней в месяц, убедившись на собственном опыте, что впечатлительный человек не способен любить существо, с которым он живет вместе или видится ежедневно. За четырнадцать лет комбинация оправдала себя как нельзя лучше. Что не доказывает ничего.

Филипп, которого Косталь звал Брюнетом из-за его смуглой кожи (а тот называл отца Ля Дин без всякого объяснения, разумного или неразумного), в свои неполные четырнадцать лет был еще телом ребенок, и голос его не ломался. По характеру он тоже был ребенком, в то же время страшно развязным и живым: запаздывая телом, очень спешил воображением. Он не был подростком; он был не по годам развитым ребенком, а это не одно и то же. В десять лет, в Париже, оказавшись без денег, чтобы вернуться домой, он пел по дворам, пока не собрал четырнадцать су. В одиннадцать лет — Косталь, не будучи сам невинным (невинные таких вещей не замечают), обнаружил дырку, сделанную Брюнетом на двери ванной комнаты м-ль дю Пейрон.

Ребенок не был ни упрямым, ни злым, ни тяжелым — тяжелым из-за легкомыслия, свойственного детям. Не похож ни на одного из тех детей, на которых утром бросают беспокойный взгляд, пытаясь узнать, с той ли ноги они встали, — сносный или несносный предстоит день. Он был подперченным и в то же время благородным. Он не был чистым, но был здоровым. Он был способен на зигзаги, но не слишком удалялся от колеи. Бескорыстным, с чувствительным сердцем, умным, но с умом невозвышенным; все усилия Косталья внушить ему чуточку безумную концепцию мироздания (философию мироздания)

провалились. И было в нем, в этом отнюдь не спортивном мальчике, что-то благоразумное, хотя с первого взгляда он казался вылитым маленьким французом 1927 года, т.е. страшно жуликоватым, но он не был таким, потому что ему не были свойственны низость и гнусность. Он никогда не совершал дурных поступков.

Самое надежное средство снискать доверие и дружбу мальчика — не быть его отцом. Брюнет, однако, был откровенен с отцом больше, чем принято. Косталь не всегда понимал сына и часто был зол на самого себя. Если женщине он мог сказать почти все, что взбрело в голову, то с Филиппом он был сдержан. Возможно оттого, что в женских порывах заключается нечто «серийное», положим, классическое¹; может, просто-напросто, все, происходящее в их душе, не

1 «Во Франции женщины все время одни и те же. Та же манера быть прелестной, входить в комнату, любить, ссориться. Напрасно стараться что-либо изменить: все равно все то же самое» Принц де Линь.

(прим. автора)

209

казалось достойным размышления. Он считал их менее загадочными по сравнению с мужчинами, особенно в детстве. С этой точки зрения даже не стоит и сравнивать девочку и мальчика. Кому — Вовенаргу или Шамфору? — принадлежит жестокая мысль о том, что нужно выбирать: любить женщин или понимать их. Косталь их любил и никогда не стремился понять, даже не спрашивал себя, есть ли в них нечто, что требует понимания.

– Ла Дин!

– Старик! Позволь мне почитать Мальбранша.

– Обоср... с твоей «бранш»¹. Слушай, я видел сегодня ночью прелестный сон.

– Что тебе снилось?

– Мне снилось, что я ел лапшу в томате.

– И ты меня беребишь, чтобы это сказать? Несносный мальчишка!

Снова возня. Внезапно, в разгар борьбы, Брюнет, чье лицо находилось в десяти сантиметрах от отцовского лица, замер и внимательно посмотрел на него.

– Я на тебя смотрю. Я забыл твое лицо. Вчера на вокзале я спросил себя, узнаю ли я, когда ты спустишься из ту-ту. К счастью, я узнал твое пальто. Дрянноватое! Пальто за полторы тыщи франков! У тебя никакого вкуса. Мне надо бы тебя сопровождать, когда ты будешь покупать себе шмотки.

«Он тоже забывает лица...», — подумал Косталь. Косталь забывал лица своих любовниц, своих лучших друзей, забывал все. И его беспокоило, когда он замечал свои черточки в сыне. «Ба! Он благороден, и я его люблю: поэтому все уладится» (немного поспешное заключение).

Однако Брюнет продолжал смотреть на отца. «Я тебя люблю, знаешь, ты хороший парень», — сказал он ему и обнял. Косталь тоже поцеловал его в веки, скорее из чувства долга, чем из горячего желания. И тогда мальчик сказал:

– Вот так ты целуешь женщин? Покажи, как ты это делаешь.

– Ну, ладно, ладно!

– Ты уже целовался с женщинами в четырнадцать лет?

– Разумеется.

– Я поцеловал Франсин Финун. Она мне сказала: «Поцелуй меня, и я тебе оплачу кино». Тогда я ее поцеловал.

– Куда же?

– Сюда.

И он показал место на щеке.

– И тебе понравилось?

Филипп так посмотрел на отца, словно Косталь оскорбил его своим предположением, что поцелуй должен ему понравиться.

– Ну, ты скажешь!

1 Игра слов: la branche — ветка

(фр.).

210

– Ты извести меня о том дне, когда тебе доставит удовольствие поцелуй с Франсин Финун. Я должен буду сказать тебе кое-что.

– Фиг я тебя извещу! К тому же она рассердилась. И потребовала десять франков. Тогда я её отлупил.

– Она зовет тебя в кино, ты отказываешься дать десять франков, разве это справедливо?

– Это детали. Косталь нашел в своем кармане сигарету. И нашел пачку мятных пастилок. Не проходило и недели, чтобы Брюнет не преподносил подобных «сюрпризов». Маленькие подарки отцу. Подбрасывал в карман то конфеты, то сигареты и т.п. Косталь дал мальчику прикурить, это была их традиционная шутка: Брюнет быстро выпускал один за другим несколько клубов дыма в волосы Косталю, а тот должен был сразу же натянуть берет. А когда снимал, его голова дымилась: огромная радость, постоянно новая! Дымящийся череп гения.

– Бедняга Ля Дин! Я заставляю тебя терять время!

– Я никогда не теряю время, когда я с тобой.

Косталь снова растянулся на кровати; забросив «Поиск истины», он снова читал «Кри-Кри» из-за плеча сына. Каждую секунду тот раздражался смехом. Казалось, что он не в своей тарелке, если не находит предлог для смеха, и все было предлогом; тогда он сильно запрокидывал голову, и зубы ослепительной белизны, маленькие и ровные, как кошачьи резцы, напоминали на его смуглом лице снег на вершине горы: на физиономии было написано щегольство. Ни на минуту, за тот час, что они были вместе, он не переставал смеяться: он излучал шаловливость и благодушие; сразу же чувствовалось, что это ребенок, освобожденный от родителей. Все это прекрасно гармонировало с постоянно хорошим настроением Косталю — естественным состоянием умного человека.

Фокстерьер с короткой шерстью показался на крыльце, глухо выдохнул «Уоф» в знак

одобрения и скрылся после этого о'кей. Фокс, отзывающийся на кличку Шерсть-в-носу, был единственным существом в доме, которое обладало высокими моральными качествами. Он часто смотрел на безумства Косталья и его сына строгим взглядом; было видно, что он их осуждает. Все кончилось глубоким вздохом. После чего справедливый засыпал, свернувшись клубком.

Косталь неоднократно пытался встать, но Брюнет вытягивал руки, словно кошка передние лапы, и Косталь, хорошо зная этот жест и находя его волнующим, не решался уходить.

Спустя некоторое время Брюнет, скомкав «Кри-Кри» и с яростью, будто внезапно ужаснувшись, что ему это нравится, отбрасывал, потом опускал голову на грудь отца. У него, игрока, в глубине души, всегда таилось желание контакта; он всегда находил повод, чтобы потереться об отца, в рукопашной схватке или когда он внезапно обнимал его и заставлял танцевать фокстрот, или когда он прыгал ему на спину. Он всегда брал его на улице под руку (и его девчачья

211

манера вздрагивать, повернув голову, когда играли в «хирургическую операцию», будь то жестокая или просто со сфигмофоном на запястье). Косталь, оказываясь в объятиях сына и тронутый его привязанностью, считал, что самое меньшее, что он может сделать, — это поцеловать. Он думал: «Он очаровательный, он ласковый, он пахнет хорошо. Неземная нежность его кожи. Однако нежность, которую я испытываю к нему, не такая, какую я испытываю к женщине. Почему? Это удивительно». В сущности, Косталь мог испытывать сильнейшую нежность только к существам, которых желал. Он находил, что у Филиппа переносица очень широкая (как у львят, если хотите), и эта крошечная деталь, которую он не любил в его лице, мешала отвечать на ласки сына со всей непосредственностью. И он за собой следил, боясь проявить холодность, потому что сильно любил, и остерегаясь, как бы частица холода не просочилась в ласки. Еще он спрашивал себя, как спрашивал себя, будучи с женщиной: «Почему ему нравится меня целовать?» И не понимал.

Так их и застала мамаша Бильбоке (прозвище, которое они дали старой деве), когда в приоткрытую дверь просунула головку ошеломленной землеройки, улыбаясь милому зрелищу.

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

15 марта 1927 г.

С тех пор, как я вернулась, не прошло ни дня без слез от наплыва мучительных мыслей. Но это продолжается лишь несколько секунд. Остальное время я живу, смеюсь, говорю, пишу. Внешне спокойна. Доказательство того, что я ранена, — то, что я не могу больше петь. Прежде я всегда пела, даже в худшие времена. Теперь это не только не приходит больше; когда я силюсь, это больше не «выходит». О, Косталь, отчего люди страдают? Есть только одно страдание: одиночество сердца. Я составила список «козырей» моей жизни: свобода, здоровье, досуг, хлеб насущный (сухой, но все же), затем молодость, что еще? Так вот, если твердить самой себе, что людишки могут ужасно завидовать всему этому, более счастливой я не стану. Даже если бы список продлился до бесконечности, достаточно поместить в столбик пассива отсутствие любви, и весь актив будет сведен на нет. Правда заключается в том, что я не наслаждаюсь больше ничем. Только суббота приносит немного успокоения: я

исповедуюсь, чтобы не порвать окончательно с религией. Поскольку Бог и вы одинаково запрещаете любить вас, это должно меня убедить.

Прошлой ночью мне снился сон. Источник легко угадать. Мы с вами гуляли по мокрым от дождя парижским улицам. И я все время что-нибудь забывала: один раз меха — и поднималась по бесконечным лестницам, а вы ждали внизу, на углу улицы. Я присоединялась

212

к вам, мы отходили, и снова я замечала, что забыла что-то, возвращалась, поднималась, искала. И, как всегда бывает во сне, этот поиск требовал неслыханных усилий, я перебирала скомканные вещи, это не кончалось, и накатывал страх: «Он меня не станет дожидаться». Но я все время находила вас на тротуаре с лицом, искаженным нетерпением, лицом разгневанного кота. Этот сон меня немного утешил, как знак того, что вы для меня не потеряны.

И, однако, если бы я поверила в ваше молчание...

О! Ни малейшего упрека, ни малейшей досады (я знаю, во что мне обойдется досада). Невозможно представить и тени моего упрека. Что бы вы ни делали, что бы ни случилось, ничто никогда не уменьшит ни моего восхищения вами, ни моей преданности, ни моей благодарности. Но моя привязанность изнемогает от анемии, чувствуя свою бесполезность. Она не может вечно питаться сама собой. Это нечеловеческий груз, это бочка Данаид. Это возможно для двадцатилетней девушки. В тридцать лет (через тридцать девять дней!) не хватает смелости. Догадываюсь, что вы заняты совсем другим. Мой порыв убит. Без конца цепляясь за вас, как я могу вынести спокойно эти бескрайние пустыни дружбы?

Что мне доставалось от вас, какие чахлые оазисы! Ни часа близости. Два года назад вы неоднократно принимали меня у себя. С тех пор — всегда на улице: на концерте, в ресторане, на тротуаре. Можно подумать, что вы чего-то боитесь. Остались ваши письма, столь редкие (я, конечно, предпочла бы, чтобы вы ничего для меня не делали, но больше писали. О! этот вечный монолог, каким является моя переписка с вами!). Но если бы исчезли сами письма! Отнимите от дружбы присутствие и письма — что останется? Я хорошо знаю, что дружба между мужчинами позволяет им неделями и месяцами не видеться, не переписываться, и при этом дружба не теряет крепость. Но я не мужчина. Почтальон с пустыми руками оставляет меня подавленной, разбитой на целый день. Напротив, словечко от вас, — капля масла в огонь; это пробуждает во мне страстный порыв...

Чтобы сохранить местечко в вашем сердце, нужно прежде всего писать короткие письма, не так ли?

Ваша Андре

P.S. Я решила впредь смеяться как можно меньше, из-за морщин.

(Это письмо осталось без ответа)

213

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

31 марта 1927 г.

Что означает это молчание? Все эти молчания, сквозь которые нужно продираться к вам... Я люблю вас как ребенка, о котором известно, что у него большое сердце и он умрет в двадцать лет. Мне хорошо известно, что я лишусь того, что мне остается, то есть права писать вам и т.д., наконец, вас, кто чуть-чуть одалживает мне себя. Еще я знаю, что ничего не смогу сделать, чтобы быть с вами. Хотела бы лишь не быть «убитой в спину». Это единственное выражение, которое передает, как мне кажется, ваши ужасные «ускользания», когда я барахтаюсь в неизвестности и не понимаю ничего, и пробираюсь в пустоте наощупь, как слепой со своей палкой или как мистик, ищущий бога в сумерках духовной заброшенности. Сами мистики нуждаются в святых дарах, заменяющих им реальное присутствие. Я люблю в вас все: ваши насмешки, жестокость — это опять-таки счастье, это оружие против вас; но ваше молчание меня разоружает и убивает. Осыпайте меня всеми ударами, какими хотите, — я смогу защититься. Но не злоупотребляйте же трусливым преимуществом, которое вам дает молчание.

Если бы вы знали, что такое потерять с вами связь — наяву или в письмах! Это отсутствие нити между нами! Это здание, которое рушится, рушится из-за разлуки, в то время как стоило бы ковать железо пока горячо. Все улечивается, как комнатное тепло в открытую дверь. Что же, по-вашему, может возникнуть между нами при таких редких свиданиях? Едва я вас покинула, я нашла слова, которые стоило вам сказать (поток необходимой информации, чтобы объяснить то и это, исправить ваше мнение обо мне...), но я не могу вам сказать всего, поскольку мы не увидимся в ближайшее время, все сведено к письмам, которые вас раздражают, и только в моей комнате, когда я наедине с собой, я говорю с вами вслух и убеждаю вас.

Не на ваши поступки я жалуюсь, поймите. И даже не на ваше безразличие к моим терзаниям, не на вас, а на отсутствие вас. На пропасть абсолютного неведения, которое все может заключать в себе: несчастный случай, болезнь, сердечные перепады, необоснованные обиды, недоразумения.

Напишите мне что угодно, напишите. Пусть это будет даже пустой конверт, как те, что просил у Руссо маршал де Люксембург, чтобы я только знала, что вы живы.

Тем не менее, я верю в вас, как нужно верить, тем не менее, в доброго Бога (так говорил наш проповедник).

Андре

(Это письмо осталось без ответа)

214

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

23 апреля 1927 г., 9 ч. вечера

Сегодня мне исполнилось тридцать, Косталь. Воскресенье — день моего бессилия. Слишком уж все божественно, слишком прекрасно. Ах! я начинаю узнавать их, эти весны отчаяния. Эти проходящие одно за другим лета. Как пустые корзины; ни одно, ни одно обещание не сдержано. Это страшное ощущение стерильности в такое время года, когда властвует

плодородие. Всегда ли нужно видеть опьяняющие вещи сквозь ужас необладания ими? К чему быть очаровательной? (Сколько еще это протянется?)

Сегодня в полдень была суматоха игроков в шары. Из моей комнаты я услышала, как семь раз на фортепьяно отеля играют длинную арию из «Луизы»: «С того дня, как я отдалась...» Время от времени «браво» и «бис», ведь там праздник «общества». Перед обедом буря. Все в отеле ярко осветилось. Садовые столы на террасе блестят дождем на свету; ветер доносит бальную музыку. Я чувствую запах конфет и апельсина от томной ветки акации. Я вижу, как из отеля выходят два молодых человека в смокингах. Блестят их пластроны, и туфли их в грязи. От их беззаботности, их радости делается больно.

Мне тридцать лет. Свершилось. Возраст ожидания закончился, возраст осуществления начинается. Я в тупике. Мне нужно не будущее, а прошлое. Хватит надежд, хочу воспоминаний. Я в том возрасте, когда американские звезды экрана убивают себя, потому что им уже нечего ждать от жизни. А мне от нее надо ждать все.

Я воображаю, что нахожусь перед постелью мертвого ребенка, мертвого мужа. Несомненно, жестоко сначала принадлежать мужчине, потом не принадлежать; но не принадлежать вовсе — куда хуже. Если бы я была моложе или старше! Будь я моложе, я еще не устала бы от этой чисто умственной жизни и этой чисто платонической умной и холодной дружбы: если бы я вас узнала, я не любила бы любовь, у меня не было бы потребности в ней, мне хватало бы самой себя, мое тело было бы мне безразлично. В более старшем возрасте у меня не было бы уже возможности «делать жизнь», мне нечего было бы терять, оставаясь в границах чистой и простой дружбы; я превратила бы ее в безропотное счастье. Тридцать лет — это слишком рано или слишком поздно.

Косталь, я повторяю вам: я не стремлюсь вас удержать. Я всегда знала: что бы я ни делала, я не смогу нравиться вам вечно. Я жила, я еще живу, каждый день ожидая вашей усталости и вашего забвения, и тишина, в которую вы замуровались два месяца назад, укрепляет этот страх. Может, это психологическая ошибка: вы настолько регулярно подавали мне «милостыню», поддерживали меня в течение четырех лет! Но я не хочу опираться на крохи прошлого для предска-

215

зания будущего. И кроме того, я даже не знаю, была ли это с вашей стороны «милостыня» или настоящее чувство. Вы же ни разу не пожелали мне это разъяснить.

Поэтому для чего мне продолжать быть осторожной и скромной с вами? Почему это я проявлю неловкость? Скромность? Я начинаю думать, что я была слишком скромной. Ловкость? С вами ее проявить невозможно, мне это хорошо известно. Вы устали без причины, просто потому, что это «достаточно тянулось», «отжило свой век», потому что «надо чуточку изменить». Вы — вода, которая течет, горе тому, кто доверится вашему течению! Невозможно пытаться «померяться» с вами; просто-напросто необходимо воспользоваться тем кратким периодом, когда занимаешь крошечное место в вашей жизни, и по возможности ухватить самое интенсивное, прекрасное и радостное.

Никогда, никогда, не найдете вы во мне женской враждебности. Никогда, что бы вы ни делали, вы не увидите с моей стороны ни враждебного жеста, ни упрека. Я ваш друг. Но больше невыносимо быть только вашим другом. Я истерзанная душа, тридцатилетняя женщина, нервная, несчастная, даже не имеющая того, что отвлекает мужчин: интрижек, путешествий, дел или хотя бы тщеславия и честолюбия. В течение двадцати лет я иду прямо между двух плотин. Сблаговолите же снисходительно выслушать меня.

Я хочу вам сказать вот что: ваша дружба не может больше сделать меня счастливой. Она — как ненужный жемчуг, который умирающий от жажды бедуин находит в пустыне. Мой возраст

— не возраст полумер и полупривязанностей, мне нужно безграничное счастье или безграничное несчастье. Я алкаю полноты, причем нуждаюсь я в полноте страсти. Ко всем этим духовным вещам, к которым по молодости я была так привязана, я теперь не привязана.

Так я не привязана к вам; я уже выдохлась от деликатности. Чистая дружба — вещь прекрасная, но она не столь осязаема, как, скажем, вода или пища; это нечто бесплотное, сухое, удушающее, прерывистое, хаотичное, а кроме того — нечто расслабленное, и, в конце концов, выдыхающееся — все держится на отсутствии, на ожидании, на небытии; короче, все невыгоды любви без малейшей выгоды. Нечто стерильное, законченное, если не вливать новый сок. Быть любимой — это быть одновременно желанной, ласкаемой. Все остальное — насмешка.

Я хотела бы получить то, что мне причитается. И вот что я вам предлагаю. Делаю это спокойно, хладнокровно: я много размышляла о том, что напишу вам. Предлагаю обменять эту издыхающую дружбу на два месяца, в течение которых вы подарите мне себя и я буду совершенно вашей. Я готова дать торжественное обещание: по истечении этого срока вы больше не услышите обо мне, если не захотите.

Эти короткие недели отчаянной полноты (отчаянной для меня), может, доставят вам удовольствие. Для меня они будут всем — всем, то есть событием в моей жизни, где нет ничего; чем-то, мною завое-

216

ванным; что оставит неизгладимое воспоминание; что никакая сила, никто не сможет у меня похитить; вовсе не то духовное наслаждение, которое вы мне давали. С этим воспоминанием я могла бы презирать банальное счастье счастливиц. Если я вас добьюсь хоть раз, жизнь не будет потеряна. Какое ослепительное спокойствие на остаток моих дней!

Не думайте, что даже в тридцать лет у меня необычайное желание физической любви. Скорее, умозрительное. По правде сказать, я хотела бы познать ее для очистки совести. И затем — точка. Подвергнуться прививке. Получить душевное успокоение, понимаете? Как же уютно устроиться в поезде, на который боялись опоздать. В чем-то я еще ребенок. Все, что я вам предлагаю, — свежо и ново, словно в первое утро, и совершенно достойно по своей простоте вашего величия. Я никогда бы не простила вам, если бы вы дали это без любви.

И не произносите словечко «коллаж», которое вы иногда употребляете без всякого изящества. Все, что попадает в вашу ауру, приобретает для меня особый смысл. Любовник, любовница, связь, беспорядочная любовь — все эти слова не значат больше ничего: есть любовь. И внутри любви — все свободы, все дерзости, поглощенные ее излучением.

Да, это письмо написала я! Еще два года назад я, скорее, умерла бы, чем решилась на этот шаг. Но что значит для меня мнение окружающих, если я знаю, что мой дар обладает лучезарной чистотой, а, может, и возвышенностью!

Андре

(Это письмо осталось без ответа)

* * *

Самое поразительное в концепции счастья мужчины, с а м ц а — то, что этой концепции не существует. Есть у Алена книга под названием «Размышления о счастье». О счастье там и речи нет. Это весьма знаменательно. У большинства мужчин нет концепции счастья.

Сен-Пре в «Новой Элоизе» восклицает: «Боже, я имел душу для боли; дай мне душу для блаженства!» Так вот, Бог не услышал этой просьбы: у самцов нет души для блаженства. В их глазах счастье — негативное состояние, в буквальном смысле слова, пошрое; его осознаешь только в контрасте с ярко выраженным несчастьем; счастья добиваешься, не думая о нем. В один прекрасный день, размышляя о себе, осознаешь, что нет слишком больших неприятностей, и тогда говоришь, что счастлив. И делаешь правилом поведения известную банальную формулу: счастье приходит при условии, что его не ищешь. С мужской точки зрения искать его, говорить о нем как о чем-то конкретном — немужественно. Мужчина, Гете, сказал о

217

«долге счастья». И опять-таки мужчина, Стендаль, написал изумительную, столь далеко идущую фразу (в ней вся философия и вся мораль): «Ничто в мире я не уважаю так, как счастье». Но они были возвышенными умами; так они думают только потому, что выбиваются за рамки характера среднего мужчины. Для среднего мужчины подозрителен тот, кто сознается в уважении к счастью. Что касается «долга счастья», то у него, вопреки Гете, сквернейшая репутация, как и у формулы: «Пользоваться жизнью». Один молодой мужчина, если вы скажете при нем: «Мрачный час! Потерянный час! Перед смертью буду досадовать, что не отдал его счастью!» — спросит у вас озадаченно: «О каком счастье вы толкуете? о счастье других? счастье страны?» И если вы с жаром ответите: «Нет, о моем!» — вы почувствуете, что он шокирован. Он не понимает, что вы можете мечтать о своем счастье: он о своем не мечтал никогда. Самец всегда думает, не испытывая страданий: «Ты будешь жить завтра». И уже прекрасно, что он придает смысл слову «жить».

Другой молодой мужчина, почти юноша, «имеющий все в своем распоряжении», когда кто-то употребил словечко «жить» в смысле «проявить себя полностью», спросил: «Но что вы подразумеваете?» Для него жить — означало работать, царапать пером по бумаге. Если бы его спросили, что такое счастье, он, несомненно, ответил бы: «Это долг, это дисциплина и т.д.» Наконец, то, что он подразумевал под словом «счастье», — это избранный им или, вернее, навязанный ему способ убивать время. Достаточно, не правда ли? Когда люди убивают время слишком легким и приятным способом, они испытывают отвращение. Сто раз говорили уже о болезненном состоянии, которое завладевает человеком, доходящим до точки в состоянии равновесия, когда в нем не остается желаний: это напоминает ощущение, испытываемое в море, когда мотор лодки вдруг останавливается. Отсюда следует, что сознание счастья дает ощущение громадного одиночества. Об этом часто забывают.

Все же у мужчины бывает и позитивная концепция счастья. Счастье для него — удовлетворение тщеславия (разумеется, с тысячью индивидуальных особенностей, поскольку у каждого существа есть абсолютно непостижимое для соседа собственное понятие счастья). Тщеславие — доминирующая страсть человека. Неверно, что из человека можно сделать все, что угодно с помощью денег. Но из большинства можно сделать все, что угодно, сыграв на тщеславии. Почти все лишили бы себя на день еды и питья при условии, что в этот день будет удовлетворено их тщеславие. Человек без тщеславия в игре не участвует: от него исходит холод, его держат на расстоянии. Для человека поэтому важнее не столько быть счастливым, сколько заставить в это поверить. Молодой врач-провинциал, недавно женившийся, наивно говорил, не думая, насколько его фраза великолепна: «Я очень счастлив. Но нужно, чтобы рядом был кто-то, кто бы это слышал». Большинство мужчин не желало бы ничего лучшего, чем

218

счастье мудреца. В глубине души они любят это: как все они грезят об уединении! Но их бы не сочли счастливыми; подумали бы, что их оставили или же они неспособны, и тогда они строят из себя важных персон, ввязываются в позорную и смешную возню, видную нам; много

звонят; днем счастья для них является тот, когда они особенно много звонили по телефону, то есть очень важничали. Именно так счастье-удовлетворение-тщеславия входит в счастье-которого-добиваешься — не думая об этом, о котором мы только что говорили. Женщина, наоборот, создает себе позитивное понятие счастья. Если мужчина больше суется, то женщина больше живет. Да, это ведь не она спросит, как тот молодой человек, о котором только что говорилось: «А что вы подразумеваете под словом «жить?» Она не нуждается в объяснениях. Жить для нее — это чувствовать. Все женщины предпочитают самоистребление, сгорая — потуханию; все женщины согласятся быть лучше съеденными, чем отвергнутыми. И какая подвижность, какой размах реакции в этом «чувствовании»! Когда видишь, как женщина, подозревая, что любимый любит ее меньше, страдает так, словно он ее уже совершенно не любит; когда видишь затем, что она признает, что он любит по-прежнему и при этом она не только испытывает безумную радость, но еще и добавляет к ней радость прощения за то, что его подозревала; и когда сравниваешь это с тяжеловесностью мужчин, — слово «живой» приобретает смысл.

Так вот, эта последовательность крошечных удовольствий, которая, по мнению мужчин, составляет в конце концов счастье, подобно тому, как звезды составляют Млечный путь, в глазах женщин — словно тысяча простительных грешков в глазах христиан, не способных составить, по их же мнению, один смертный грех. Счастье для женщины — это четко очерченное состояние, наделенное индивидуальностью, особенностью; питательная среда, в высшей степени живая, могучая, чувствительная. Женщина скажет вам, что она счастлива, словно говорит, что ей жарко или холодно. «О чем вы думаете?» — «Что я счастлива». — «Для чего вы желаете сделать то или это?» — «Чтобы быть счастливой!» (И с какой живостью тона! подразумевается: «Черт возьми!») — «Я опасаюсь, что вы сделаете то-то и то-то». — «Вы думаете, что я хочу разрушить собственное счастье?» Она сообщит вам приметку своего счастья, сказав, например: «Когда я счастлива, я молчу», или: «Когда я счастлива, я всегда чувствую себя хорошо». Она точно знает, когда начинается и когда кончается счастье. Существует книга из «Розовой библиотеки» под названием «Четырнадцать дней счастья». Эта книга написана женщиной, и это видно уже по названию; мужчине никогда не пришло бы в голову, что счастье можно разрезать на четкие кусочки, как пирог. И этими «четырнадцатью днями счастья», то есть всем разграниченным периодом счастья, всяким явно эфемерным, но четким счастьем — женщина будет наслаждаться гораздо больше, чем на ее месте сделал

219

бы мужчина. Любая женщина предпочтет ничему — счастье, краткость которого сознает. Скажите девушке: «Я очень хочу на вас жениться, но по роковой причине вы через год начнете чувствовать себя несчастной», — и она, конечно, ответит: «Хорошо, у меня будет целый год счастья». Мужчина на ее месте подумал бы об угрозе будущего и взвесил бы счастье и риск. Идея счастья столь сильна у женщины, что она видит только счастье; оно гасит риск.

Для женщины единственная приемлемая судьба — счастливый брак. Следовательно, она зависит от мужчины и с детства знает об этом. Подросток поистине страдает от бессилия; парень живет в настоящем; молодой человек представляет будущее как материал, который ему одному предстоит осваивать. Подобного будущего девушка боится. Парень знает, что его будущее станет таким, как он захочет; девушка знает, что ее будущее станет таким, как захочет мужчина. Ее мечты о счастье во время этого периода неуверенности будут тем сильнее, если с самого начала счастье — под угрозой.

Так же женщина гораздо больше мужчины придает значение условиям счастья. Именно женщина написала, что против некоторых делений на комнатном термометре стоит «апельсин», «шелкопряд» и т.д., а вот за черточкой 25 должно быть обозначение: «счастье». Когда возвращаешься из долгих странствий по Северной Африке, Испании, Италии в проказу

парижской зимы (10 градусов ниже нуля, тьма, грязь, убогость, тягость во всем, резкость во всем, болезненная напряженная жизнь), поражает не столько совокупность этого ужаса, сколько то, что большинство мужчин приноравливается, жизнь продолжается благодаря им. Но в глубине этого ада женщины грезят о другом, томятся по другому, не одна обуздывает отчаяние. Когда-то появился роман, написанный девушкой, «Возраст, когда верят в острова». Женщины всегда в возрасте, когда верят в острова, то есть в счастье.

Источник позитивной идеи, которую женщины делают из счастья, требования, предъявляемого к нему, — несомненно, состояние неудовлетворенности. О! Это вовсе не значит, что все женщины — жертвы. Тем не менее, когда подумаешь о состоянии, в котором пребывают мужчина и женщина в обществе... Для женщины это, скорее, несчастье; для мужчины — оупение. В мусульманской свадьбе, справляемой в Алжире, существует поразительный обычай. Куафферка подходит к молодоженам и наливает в сложенные ладони новобрачной жасминовую воду; муж склоняется и пьет; куафферка наполняет водой ладони мужа; но, когда новобрачная хочет выпить, тот разъединяет ладони, и вода ускользает. Вот жестокий обычай: он основан на принципе, что мужчина должен быть счастлив, а женщина нет. В этом жесте девочки, склоняющейся, чтобы выпить воду, в которой муж ей отказывает, есть что-то, заставляющее вздрогнуть. Разумеется, это мусульманский мир, а в Европе несчастье женщины изначально не утверждено как священный принцип. Но, в конце

220

концов, даже в Европе, где женщины извлекают свое счастье из счастья мужчин, те вовсе не стремятся осчастлививать женщин. Редко встречается политик, жертвующий успешной карьерой, промышленник, рискующий положением, писатель, готовый пожертвовать частицей творческой энергии, чтобы сделать женщину счастливой (например,

женясь на ней). Больше того: даже если нет никакого риска жертвы, не найдешь мужчину, готового жениться на женщине, желающей этого; он хочет этого меньше, просто чтобы осчастливить ее. Тогда как миллионы женщин мечтают о замужестве исключительно для того, чтобы излить поток преданности на мужа и детей.

Мечты рождаются от неудовлетворенности: имеющий все не мечтает (мечтает условно, если это художник). Где мечтают о счастье (даже мужчины)? В лачугах, в больницах, в тюрьмах. Женщина мечтает о счастье и думает о нем, потому что его у нее нет. Если мужчина страдает из-за женщины, ему есть чем утешиться. Но она, как? Женщина никогда не может полностью реализовать себя: она слишком зависит от мужчины. И она без конца думает о том, что ей недоступно. Одна поэтесса написала книгу «Ожидание»; опять-таки женское название, как и «Четырнадцать дней счастья». Женщина всегда ждет с надеждой, вплоть до старости, без надежды на запредельный мир.

Эту мечту о счастье, столь свойственную женщине, мужчина не понимает. Он называет это наивностью, экзальтацией, романтизмом, боваризмом — постоянно с оттенком превосходства и пренебрежения. Существует более презрительное выражение: туман в душе. Стоит женщине признаться, что она счастлива, мужчина говорит, что это экзгибиционизм. Если она поет целый день, мужчина скажет: «Думаю, что она чуточку простодушна»; для него она не может быть счастливой, не будучи простой. Когда поэт пишет, что предпочел бы вовсе не ехать на итальянские озера, чем ехать с любимой женщиной, непременно отыщется критик, чтобы заявить: «Это концепция швей-ученицы» (женщина, которая говорит вам: «Для меня было бы жестоким мучением видеть, например, картину Тициана, которого я люблю, рядом с тем, кого я не люблю»; если это концепция швей-ученицы, тем лучше для нее). Девушка, ожидающая мужа слишком долго и украшающая в своем сердце образ неизвестного мужчины, покажется ему комическим персонажем: он верит (или притворяется), что речь идет о драме плоти, тогда как это душа,

снимаемая желанием отдаться (остаётся выяснить, большее ли это несчастье, чем несчастье большинства замужних женщин). Молодая женщина, мечтающая о счастье, которого у нее нет, интересуется его в той мере, в какой он рассчитывает на награду: у него от этого не появится больше уважения к ее ностальгии. Что касается старой девы и ее сожалений, им уготована лишь насмешка и даже оскорбления: по крайней мере, во Франции мужчины презирают старых дев.

У этой концепции счастья судьба всех женских концепций: она

221

совершенно не интересуется мужчиной. Тот не интересуется женщиной, когда его чувства удовлетворены; одна из трагедий жизни женщины, когда она впервые осознает это. Галатее бежит к ивам, чтобы ее вернули; еще миг, и мужчина удирает от ив, но на этот раз — всерьез, он не хочет попасться вновь. Женщина наскучивает, раздражает мужчину, когда он больше не наслаждается ею, подобно тому, как дым от закуренной сигареты, который мы с удовольствием только что вдыхали, нам не нравится, если исходит от почти выкуренной сигареты, которую мы положили на стол, чтобы к ней не возвращаться. Пары спорят потому, что им нечего друг другу сказать; это их способ времяпровождения. Из вежливости, из любезности, из долга мужчина вынужден сдерживаться, чтобы тратить свое время на женщину, которая его удовлетворила; когда он ею занимается, у него всегда такое чувство, что ей оказывается милость. Только распутники без конца интересуются женщиной, потому что любопытство — душа желания — у них всегда бодрствует: отсюда снисходительность к ним женщин, даже самых серьезных. «Счастье женщин, — говорит глубокомысленно герой романа, — исходит от мужчин, но счастье мужчин — от них самих. Единственное, что женщина может сделать для мужчины, — это не тревожить его счастья». Самое страшное то, что наивная и бессильная женщина мечтала бы сделать для мужчины то, что он может для нее. Женщина счастливая и любимая (и любящая) ничего больше не просит. Любящий и любимый мужчина всегда чего-то еще хочет. Если отбросить денежный вопрос, мужчина, который женится, всегда делает подарок женщине, потому что она испытывает жизненную потребность в браке, а он такой потребности не испытывает. Женщины выходят замуж потому, что брак — единственный ключ к их счастью, тогда как мужчины вступают в брак потому, что это делает Пьер и Поль; они женятся из привычки, если не из отупения. Естественно, они в этом не сознаются, потому что не осознают этого. Именно бессознательно женится большинство мужчин, как бессознательно они воюют. Дрожь охватывает при мысли, что случилось бы с обществом, если бы мужчинами стал управлять разум: оно погибло бы, как на наших глазах погибают от своего ума слишком умные народы.

Мужчина и женщина стоят друг против друга, и общество им говорит: «Ты ничего не понимаешь в нем? Ты ничего не понимаешь в ней? Хорошо, понимай же! Идите и разбирайтесь». Итак, если бы не существовало объятий, каждый пол оставался бы на своем берегу. Не свирепые, как в стихотворении де Виньи, а просто как два вида, абсолютно непроницаемые друг для друга, и которым нечего друг другу сообщить. Природа создала их антиподами, не способными к взаимосоглашению или способными примириться только на развалинах чего-либо; и мы присутствуем при странном зрелище: мы видим существа, которых подтолкнули друг к другу, в то время как они друг для друга не созданы.

222

Женщина создана для мужчины, мужчина создан для жизни и особенно для всех женщин. Женщина создана, чтобы прийти и поработать; мужчина — чтобы предпринять и отвязаться; она начинает любить, когда он уже кончил; говорят о «поджигательницах»¹; почему бы не поговорить о «поджигателях»? Мужчина берет и отбрасывает; женщина отдается, а то, что хоть раз дали, не отбирают или отбирают неохотно. Женщина верит, что любовь может все, не только ее, но и мужская любовь, которую она всегда преувеличивает; она красноречиво

утверждает, что любовь не имеет границ; мужчина видит границы любви, той, что испытывает к нему женщина, и своей, всю бедность которой он сознает. Они не только не идут в одном ритме, — дар и просьба между ними не согласованы. Мужчина почти ничего не способен испытывать к женщине, кроме желания, которое ее убивает; женщина почти ничего не способна испытывать к мужчине, кроме нежности, которая его убивает. Женщина дарит больше нежности, чем может вынести мужчина; к счастью, есть ребенок, нуждающийся в ней и поглощающий избыток. Женщина говорит: «Ах! какие же безумцы мужчины, ради идеи, славы, денег пренебрегающие временем, которое должно быть посвящено любви: она столькому учит! Сколько мужчин не достигает возвышенных областей (интеллектуальных, социальных, религиозных и т.д.), потому что не позволили жить в себе любви!» И мужчина отвечает: «Как я могу позволить любви жить во мне? Я могу лишь позволить ей умереть. Это не тот уголь, что дает тепло. В нем скверный горючий состав. Почему меня заставляют быть не тем, чем создала природа? Природа создала меня мужчиной, то есть существом, лишенным любви». Такова эта гибридная парочка, порождающая большинство зол на земле, причем виноваты не они, а природа, соединившая их безо всякого выбора, намешав лучшее и худшее, как и в других своих творениях, где нет ничего без примеси, где все бессвязно, нечисто, двулично, вопреки безголовым и философам, видящим лишь одну грань.

Скажут: «Как это! Парочка, порождающая большинство зол на земле. Какое преувеличение!» Но разверните газету. Драмы ревности, драмы адюльтера, драмы развода, драмы аборта, преступления страсти. И все эти семейные драмы не существовали бы без изначальной, пары. Проклят не свободный союз, а пара, под каким бы соусом не существовала; возможно, под брачным больше, чем иным. В основе лежит чудовищная случайность: мужчина обязан взять подругу на всю жизнь, тогда как не доказано, что ею должна быть э т а, а не т а; ведь миллионы других так же достойны быть любимыми. Мужчина, который принужден природой повторять один и тот же любовный треп десяти женщинам, включая ту, которой он предназначен, — или лжец, если он это утаивает, или жестокий, если сознается. Мужчина,

1 l'allumeuse

(фр.) Этим словом обозначают вызывающую женщину.

223

который принужден природой обманывать жену (со всей сопутствующей обману низостью), — негодяй, если позволяет возобладать природе, или несчастный, если ее победит. Девушка становится женщиной в слезах, а матерью — в стогах. Ребенок — естественный факт, уродующий, деформирующий женщину. Так называемый естественный по преимуществу акт может быть совершен только в определенное время, в определенных условиях с определенными предосторожностями. Страх перед ребенком или перед болезнью витает, словно призрак, над каждым альковом. Так называемый естественный по преимуществу акт окружен всевозможной фармацевтикой, которая его грязнит, отравляет, делает смешным. Поистине, какой мало-мальски думающий мужчина не скажет, приближаясь к женщине, что он сует палец в зубчатые колеса и что он искушает судьбу? И все же он этого желает, женщина желает, общество желает, и, если бы природа способна была желать, она бы тоже это пожелала; а все это именуется любовью, нитью пламени, привязывающей человека к земле и оправдывающей существование. Нам скажут: куда вы клоните? Просто выражаю удивление. Удивление, что столь важное движение, как движение полов друг к другу, вынуждено собственным своим характером вызывать столько зла. Нам кажется, что природа должна наказывать не то, что она требует, а то, что делается против нее. Но нет, она сохраняет всю свою строгость для тех, кто за нею следует и без кого она не существовала бы. Если только все не содержится в природе и если не ошибаются, когда усматривают ее здесь, а не там.

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

г-ну АРМАНУ ПЭЛЕСУ

Тулуза

27 апреля 1927 г.

Мой дорогой друг,

получил письмо от бедняжки Андре А. Она предлагает себя мне в самых прямых выражениях. Если она будет настаивать, я вынужден буду отказать столь же прямо.

Общественное мнение Франции, насколько я знаю его, рассудило бы: «Мужчина так не поступает! Или это грубиян, или слабак. Наносить подобное оскорбление женщине — мерзость».

Что вы об этом думаете? Но прежде — моя защита.

Абсолютно лишенная светского чутья Андре неспособна отличить в моем отношении к ней чистую учтивость от легкомыслия и, положим, добродушия. Когда речь заходит обо мне, она принимает вежливость за жгучий интерес, доброжелательность за предпочтение, жалость за дружбу; да простит меня Бог, но я подозреваю, что временами она думает, что я ее люблю. Если я пишу в посвящении собрату по перу, с которым у меня чисто дружеские отношения «сердечно

224

ваш», ему и в голову не придет, что я испытываю к нему «сердечные чувства». Андре от подобного посвящения растаяла бы: «Он объяснился!»

В сущности, я испытываю к ней симпатию, уважение, даже немного восхищаюсь ею. Это все. И этого предостаточно.

Это все? Нет, еще я ее понимаю. Знаю, что Андре неприятна тем, кто ее знает. Ее упрекают в том, что она считает себя выше других. Но вдруг в этом есть частица правды?

«Литературна»? Но, напичканная чтением, она, напротив, остается совершенно естественной, лишенной малейшей позы, тогда как существует уйма «начитанных» женщин, которые, более или менее бессознательно, взваливают на себя книжные чувства, полагая, что так и надо. Впрочем, почерк выдает Андре: сама простота и бьющий ключ. Потому что, в отличие от других, у нее мощный и простой темперамент, природа (а вы знаете, что слова «быть природной» означали в устах Гете высшую похвалу). И я даже до некоторой степени прощаю ей отсутствие достоинства. Ведь она в конце концов любит, эта девочка, а любовь и достоинство не составляют хорошую пару. Она хотела бы быть счастливой: что может быть естественней? Я тоже, когда хочу быть счастливым, хватаю через край. Короче, она мне надоела, но я ее понимаю и защищаю, когда ее атакуют, потому что не уверен, что в ее положении не был бы таким надоедливым, хотя, надеюсь, более осторожным.

Помимо этого, она некрасива, неграциозна, безвкусно одета и лишена женственности. Вы сами мне говорили: «У нее вид служанки». Странное изобретение — человеческое лицо: или оно очень красиво, или чертовски уродливо!

И потом, даже если бы она и не была откровенно отталкивающей — она мне не нравится, и я считаю, что одно это оправдывает мое поведение. Существуют женщины, в которых нет ничего, но это «ничего» возбуждает. «Ничего» Андре меня подавляет. Испить этот кубок до постели — нет, никогда!

Я могу сделать жест обладания. Преуспеть в том, что презираемо — благородная трудность, потому что надо победить одновременно других и себя самого; но это всегда было в моих силах. Преуспеть в том, что мне отвратительно — это я тоже могу. Я отделался бы смертельной нервной депрессией, которую испытываешь после плотского акта с той, кто не возбуждает желаний. Но чего я не могу, так это изображать любовь. В моем обладании она почувствовала бы мое отвращение. Это убило бы ее. И для чего навязывать себе такое испытание? Чтобы заставить ее страдать!

Предположим, она от этого не пострадает; берут ли женщину из жалости? Это, как говорят мои братья, «спорный вопрос». Разумеется, бывает так, что женщину берут, жалея ее, подобно тому как берут женщину, потому что она вас разгневала; но в основе должно быть желание, чего нет и никогда не будет у меня с Андре. Один мой

225

приятель, очень несчастный в браке, обмолвился как-то, рассказывая о своей жене: «Я плетусь с ней из жалости. Она молода. Она в этом нуждается». Я никогда не забываю этих слов, показавшихся мне страшными. Но можно из жалости удовлетворить женщину, даже делающую вас несчастным, если это ваша жена, вовлеченная в вашу жизнь, в ваши интересы — и это случается сплошь да рядом. Не удовлетворяют из жалости чужую, вас леденящую, к кому не испытываешь привязанности.

Да что там говорить! Это не шутка: сделать женщиной тридцатилетнюю мадмуазель. Это создает связь, риск, может быть, ответственность, может быть, — неисчислимые последствия: вспять не повернешь. Так вот! Я считаю чистым безумием затевать это ради безразличного тебе человека. Мамаша Колетт говорила ей: «Делай только такие глупости, которые доставляют тебе истинное удовольствие». И я не желаю, чтобы она имела какие-то права на меня.

Последний довод, если хотите, жалкий, так что ж! Я не субъект из бронзы. По характеру, из принципа, я с юношеских лет тщательно прятал все связи, даже самые лестные. По характеру — скрытный от природы (что неразрывно связано с фальшивыми признаниями). Из принципа — потому, что молодая особа уступает мне с тем большей легкостью, что знает: наружу это не выйдет и потому, что моя репутация распутника самим фактом, что ее нельзя прицепить к именам, сохраняет, вопреки всему, достаточную расплывчатость, мешающую ставить мне палки в колеса. И вот Андре, несдержанная в речах, опубликует, что она моя любовница! Мне нравится, что, за исключением нескольких редких людей, никто не может назвать моих подруг. И весь Париж перед таким уродцем, как Андре, может вскричать: «Теперь-то мы знаем, кто его пленяет!» И по этому образчику вообразить остальных!

Наконец, даже если бы этого и не произошло, меня удерживает вот что: в ее форме лица и лба — нечто от моего прадедьюшки Косталь де Прадель; а вы понимаете, что мне не улыбается примешивать семью... Кто бы мог поверить? У меня тоже есть свои понятия о приличии... 1

Косталь

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

30 апреля 1927 г.

Вы не ответили на самое серьезное письмо, которое гордая и чистая девушка может написать мужчине. Другие письма, строго говоря, не требовали ответа; но это — требовало. Если вы не ответите на

1 Продолжение письма не имеет никакого отношения к нашему сюжету

(прим. автора).

226

сегодняшнее письмо, я буду считать, что впервые вы поступили со мной плохо. Это будет первой реальной трещиной в моем уважении к вам.

Мне тридцать лет, я не знаю любви и, если вы не измените своего отношения, я не познаю ее никогда, потому что вы заняли во мне слишком много места. Кто способен любить вас больше меня? Никто, это невозможно. Ни одна любовница не любит вас так, как я (это, впрочем, довод в мою пользу). Вы тот, кого встречаешь только раз; вы отмечены завершенностью, законченностью, и у женщины, которой не посчастливилось вас встретить, была бы жизнь изуродованная, неудавшаяся, без цветов, без плодов. Вы мой господин. Бог знает, что у меня не рабская душа, и все же я вам подчиняюсь без малейшего усилия, без малейшего унижения; несмотря ни на что, я всегда пребываю на одной с вами ступени, одновременно ваша подданная и равная вам. Думаю, что для такой, как я, не существовало бы в мире ощущения восхитительнее этого, если бы вы были моим господином в полном смысле слова. То есть, я не смогла бы, даже если бы захотела, отдать другому мужчине какой-нибудь остаток себя, когда все лучшее взято вами: в моих глазах это было бы грязью. А кроме того, я неспособна уже заинтересоваться другим мужчиной: все, кто не вы, мне скучны. Они надо мною не властны. Это я властвовала бы над ними. А я не могу принадлежать мужчине, который не владеет всем моим существом; это невозможно, все во мне противится. Моя женская истина — любить, покоряясь и уважая; я должна чувствовать над собой превосходство. Видите ли, мне сейчас предлагают очень соблазнительные партии. Как те, что имеют религиозное призвание, я взвешиваю. На одной чаше — всевозможные блага этого мира, на другой — мое призвание: любить вас. И оно преобладает.

Вы значите много и очень мало для меня. Много, чтобы я могла полюбить кого-то другого. Очень мало, чтобы меня заполнить и удовлетворить. Вы мне даете много, что мешает прекратить всякое общение с вами. Вы мне даете столь мало, что эта малость ничтожна и болезненна, как ничто. Ваша дружба для меня пытка, и прекращение дружбы было бы тоже пыткой. Вы как нож в моем сердце. Оставить там — больно. Но вырвать! Из меня бы вышла жизнь. Я четвертована между дружбой к вам, духовной потребностью в вас, желанием быть вами духовно любимой и моим желанием любви, моим желанием жить, пусть лишь несколько месяцев; моя плоть тоже испытывает законную потребность любви. Если я не хочу потерять вас, мне надо пожертвовать плотью. Мне надо умереть девственной или забыть вас совсем, вплоть до вашего имени. Лишить себя замужества, наслаждения, здоровой жизни, истощиться в безысходном чувстве к человеку, который меня, конечно, любит, но не испытывает ни малейшего желания ни дать мне, ни получить от меня. Ведь вы не желаете от меня даже отказа. Вы ничего от меня не хотите.

Вы сказали мне, что, когда женщина смотрит на вас томным

227

взглядом, это «повергает на землю». Вы когда-нибудь видели у меня такой взгляд? Разве я когда-нибудь навязывалась, цеплялась к вам? Я поняла бы ваше сопротивление, если бы это было так: докучливым людям не стоит что-либо давать. Но это вовсе не так, я бы себе этого

просто не позволила: мужское равнодушие таит нечто унижительное для женщины. Мое чувство — товарищеская влюбленность. Я не хочу вас, но вы единственный мужчина, чье желание я могу принять без возмущения. Повторяю: я могу любить только того, кто превосходит. Лучше попытка отказа, чем отдаться тому, кто ниже меня. Еще я предпочитаю брак, даже посредственный, посредственной интрижке. Брак одновременно с вашей дружбой? Прежде всего, ни один муж подобной дружбы не вынесет. А кроме того, сама мысль о мужском прикосновении бросает меня к вам, и я воображаю раздирающее сожаление: что могло быть — не произошло.

Я хотела, я изо всех сил хочу добра вам и себе. Возможно ли, что все это было напрасно? Причиняйте мне боль, если того требует ваша истина, но не разочаровывайте меня. Положим, эти два месяца связи не принесут никакого удовольствия вам, пресыщенному; но они могли бы быть, по крайней мере, психологическим опытом, небесполезным для вашего творчества. Я была бы вашей морской свинкой особо редкого и драгоценного вида: свинкой, наделенной разумом, свинкой, которая, при желании, записывала бы то, что чувствует, и передавала бы вам. За недостатком удовольствия вы трудились бы для вашей книги, а я, если бы знала, что хоть чуточку помогаю, была бы вдвойне счастлива. Притом, кто знает, наслаждение может вас захватить: в вашем каталоге нет, возможно, тридцатилетней провинциалки с изощренным умом и нетронутым телом (и чье тело куда прелестнее лица). У вас, столь часто писавшего, что единственный двигатель мужчины в любви — любопытство, может ли не вспыхнуть любопытство к подобному объекту? И, наконец, я или другая...

Одно из двух: или вы меня искренне любите, и тогда ничто в вас не разрушится, вы узнаете, что осчастливили меня, испытаете радость; может быть, наша связь, начавшись с дружбы, дружбой и завершится; любовь была бы восхитительно облечена двумя слоями дружбы, как драгоценность — шелковой бумагой. Если же нет, если я вам безразлична, тогда чего же вам бояться? Без всякого сожаления вы увидите, как этот опыт окончательно отделяет вас от меня.

У меня чувство, что я стучу в стену. Стена пока не уступает, но, если я разойдусь... Вы не подозреваете, что такое женская воля.

Андре

228

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

2 мая 1927 г.

Дорогая мадмуазель, я, конечно, получил два ваших мартовских письма, где вы жалуетесь на мое молчание, и два апрельских, где вы предлагаете себя мне. Видите, я читал их.

Вы одержимы счастьем. Я тоже. Вы не представляете, с какой остротой я чувствую драматизм ситуации, когда тело и душа не находят желаемого. Я написал бы об этом кипу страниц, причем с гораздо большей силой, чем вы. Если мы здесь друг друга понимаем (словечко *sumpathein* означает: «страдать «с», «страдать тем же что»), так потому, что с этой точки зрения я был вами. Не только в эпоху юношества, связанный собственной неловкостью и незнанием жизни, но даже позднее, уже будучи мужчиной, в некоторые отчаянные периоды жизни. Правда, они были непродолжительны. Сегодня у меня есть все, что я люблю, а я

люблю то, что у меня есть.

Поэтому, повторяю, ваше страдание не принадлежит к тем, что нужно вообразить, чтобы иметь возможность сочувствовать. Я его знаю, оно жестоко, и ваша ситуация — жестока. Поистине, вам не на что надеяться.

Если я правильно понял смысл ваших последних писем, вы хотите мне отдаться. Позвольте же сказать вам, дорогая мадмуазель, что эта мысль не кажется мне радостной.

1. У меня несколько особая физиология. Я желаю только: а) девушек не старше двадцати двух; б) девушек пассивных, инертных; с) высоких и тонких с волосами цвета воронова крыла. Видите, вы не отвечаете подобным условиям, которые абсолютно *sine qua non*¹. Каковы бы ни были ваши прелести, которых я не достигну, — вы знаете их очень хорошо — я не чувствую себя способным ответить на столь для меня почетное желание: природа (злодейка!) осталась бы глухой к моим призывам. И, как говорится, невозможно заставить пить осла, который не испытывает жажды.

2. (На память). Акт, о котором вы мечтаете, был бы для вас огромным разочарованием, особенно теперь, когда вы себя взвинтили. Вы не представляете себе, что это за обезьянничанье. Если послушать любовную сцену за загородкой, можно подумать, что это прием у зубного врача. Не знаю, приходилось ли вам слышать, что шепчет женщина, когда отдается? Нет? Так вот: жаль, иначе вы сразу стали бы кармелиткой (но будем справедливы и добавим: ...и что говорит мужчина, который пытается завязать разговор с незнакомкой? Конечно, нет, потому что уже давно вы застрелились бы).

1 Необходимое условие

(лат.).

229

Я вас предостерегаю также против вашей веры во власть желания и воли. Вы знаете мое мнение насчет женской неловкости: один из их ляпов — вера в эффективность настойчивости. Я не сомневаюсь, что есть мужчины, с которыми этот номер пройдет. Но я не из их числа. И говорю вам: нет, никогда!

Ну же, крепитесь! Считайте, что я поступил с вами великодушно во время вашего опыта. Но позвольте спросить: почему вы обрушиваетесь на меня, когда мир полон господ с тысячью достоинств, которым вы доставили бы счастье? Вы бьетесь о меня, как птица о стекло маяка. Вы не разобьете его. Вы сами разобьетесь и упадете к подножию маяка. До свидания, дорогая мадмуазель. Вы не лишите меня дружбы, не правда ли, без злопамятства? Вы знаете, что я посвятил себя тому, что мне все прощается.

Весь ваш¹

К.

P.S. Вы недостаточно хорошо сократили последнее письмо. Уже, по меньшей мере, четвертый раз это случается с вами. Компактные листы, присылаемые вами, — просто наваждение. Я вынужден делать непомерные доплаты. Вам следует купить весы для писем.

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

АРМАНУ ПЭЛЭСУ

Тулуза

2 мая 1927 г.

Второе письмо от бедной Андре, предлагающей себя вдоль и поперек. Она так меня любит, что я постоянно удивляюсь, как она меня до сих пор не убила. Но пусть попробует! Она будет весьма разочарована! Меня просто так не убьешь. Это я воспользовался бы возможностью не промахнуться. Я ее не осуждаю. Я понимаю ее и жалею. Однажды она написала мне: «Понимать — это любить. Если я вас так хорошо понимаю, то потому, что люблю вас». Так вот, я ее понимаю и не люблю. Она мне глубоко безразлична. Сама мысль о том, чтобы заставить ее страдать, не вызывает никакого удовольствия. Вот почему я не дам ей ни этих двух месяцев любви. Ни недели любви («неделя добра»). Ни ночи любви. Ни одного часа.

Жаль, что вы не читали письмо, которое я ей послал! Поистине, не желая приводить бедняжке ни одного из моих аргументов, которые все, без исключения, могли бы свестись к фразе: «Я не полюблю вас и не возьму вас, потому что я вас не люблю и потому что вас не хочу», я иссушил бы себе мозг, чтобы отказать, не ранив ее.

1 Уловка Косталья: *Bien a vous* (весь ваш); буква *B* из *Bien* — на самом деле *R*, т.е. *Rien a vous* (совсем не ваш), но начертана так, что можно ошибиться. Точно так же, когда Косталь хочет сказать кому-то «нет», но боится гримасы на его лице, он говорит: «Слуга покорный!», уверенный, что собеседник примет это за согласие

(прим. автора).

230

Уже не первый раз меня загоняют в угол. В молодости я попросил своего друга-врача сказать одной воспламененной американке, что Венера с перекрестка не оставила меня без вознаграждения — чистая выдумка. Три года назад меня преследовала баронесса Флешье, дама пятидесяти с лишним лет. Однажды после полуночи, когда мне стоило невероятных усилий удерживать рандеву на возвышенной ноте, она сунула мне под нос две бледные старческие руки, говоря: «Вы — первый мужчина, принятый мною в этот час, который не поцеловал мои руки». В этой критической ситуации мне нужно было объяснить причину. Я постыдился дать то же объяснение, что и даме из Алабамы. Я сказал ей, что, к несчастью, не испытываю тяготения к женщине. Поскольку я не афишировал своих связей, это мне сошло. Она поверила или притворилась, что верит, и я, в хорошем настроении оттого, что ловко вывернулся, щегольнул клятвой, что ни разу в жизни не держал женщину в объятиях. Этой ценой мы сохранили дружбу.

Мне было омерзительно давать «девушке» одно из подобных объяснений, и я наплел Андре несусветную чепуху. Я сказал ей, что желаю только тех, кому не больше двадцати двух лет, высоких и тонких, с волосами цвета воронова крыла и к тому же инертных. Наконец, я сказал, что плотский акт — обезьянничанье. Что и есть на самом деле. Но есть также и другое.

А насколько все просто! Искра желания — и все бы завертелось четыре года назад. Вам известна моя космогония: «Сначала было желание». Да, и если нет желания, нет и начала. Судите сами: видел вчера у Дуаньи потрясающую девицу. Какая милая зверушка! Я обратил на нее внимание еще в феврале, в Реформистском Центре, когда она сопровождала слепого (одинокого родственника, по ее словам). В то время как все болтали и осточертевали мне любезностями, она не сказала ничего. Ничего мне не сказать — вам известно, что это самое верное средство сказать мне много. Своей простотой она попала в точку. Особенно после всех «выдающихся» особ вроде Андре. Эта малышка показалась мне очень умной из-за своей миловидности. Вы подумайте: никогда, никогда я не встречал у женщин сочетания этих двух качеств: ума и красоты. Наконец, она адресовала мне несколько слов, банальных даже и выпрєнных.

Разумеется, мне захотелось ее уязвить.

– Вы сказали, что читали меня. Что же вы читали, мадмуазель?

Она колеблется.

– Сейчас... погодите... «Ничего, кроме земли».

– Сожалею, но это книга Морана.

Она, не смутившись:

– Я знаю, что что-то ваше читала. Я не помню ни названия, ни сюжета, но помню, что мне понравилось.

Браво! Но испытание не закончилось. Я хмуро взглянул на нее:

– Так вы... вы не скажете ничего определенного о моем творчестве, мадмуазель?

231

Она широко раскрыла глаза. «Нет, так вы ничего определенного не скажете?» — горячо настаивал я.

Она покачала головой. Тогда мы остались довольны.

А до чего она восхитительна. Голова круглая, как у птицы. Руки — совершенные, с полупрозрачными, как оникс, пальцами; красота этих пальцев и ногтей заставляет поверить, что она из благородной расы, что, к сожалению, не так.

Я маневрирую, чтобы выйти с нею, и вот мы на авеню де Ваграм. Ее реплики плоски, как тротуар, и ее кисловатый голос производит неприятное впечатление. Но я растроган ее мелкими шажками мула, когда она идет рядом со мной. Я, шагающий, как гора, и она, как деревце (по крайней мере, эти сравнения уместны). Все женщины смотрят на нее недоброжелательно, а некоторые мужчины оборачиваются. Я же дерзкой фамильярностью показываю, что она мне понравилась. Старое грубое тщеславие: идти рядом с прелестной девушкой и думать, что тебя принимают за ее любовника. Да, но по звучанию ее голоса они должны догадаться, что она настоящая девушка. И это сбивает с меня спесь. В общем, я — воплощение Рене Мэзруа.

Когда желаешь женщину, узнать ее имя — получить как бы набросок обладания. Имя — это уже душа. Ее зовут Соланж Дандийо. "Соль» и «анж» — две крайности! Я всегда касаюсь двух одновременно!

И она — внучка главного прокурора! Одного этого достаточно, чтобы я ее захотел.

Она рассказывает немного о своей жизни, с чисто французской простотой; на ней отдыхаешь после вековой романтичности историй, которые рассказывают о самих себе германские девственницы. Я провожаю ее до самого дома, на авеню Вилье. Домик ничего; это поможет ее любить (о!). По ее словам, у нее нет подруг. Нет ничего лучше для девушки, чем не иметь подруг; еще лучше — не иметь родителей. Я приглашаю ее к Пьерарам через три дня, и она соглашается. Тут же пишу Пьерарам из удовольствия начертить ее имя.

Почему я вам все это рассказываю? Потому что это ангел, который от меня уже не упорхнет. У нее свинец в крыле; нужно только дать ей возможность изнуриться. И это ответ не бредни бедняжки Андре, которая ищет бог знает что бог знает где. История Андре укладывается в предложение, которое было бы неплохим названием комедии: «Ей достаточно быть

очаровательной».

(Я поставил «ангела» в женском роде. В самом деле, раз ангелы — чистые духи, я не понимаю, почему их изображают исключительно мужчинами; разве что для удовлетворения непризнаваемой педерастии рода человеческого).

—

1 Sol — земля; ange — ангел

(фр.).

232

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

Пятница, 4 мая

Однажды я показала ваше письмо, не говоря, кто автор, моей подруге-графологу. Она сказала: «Остерегайтесь этого человека. Он из змеиной расы». Да, это правда: вы мужчина-змея во всей мерзости. Другая моя подруга пила из какого-то родника и проглотила змеиное яйцо. И позднее радиография обнаружила змею внутри ее тела. Как и она, я наивно позволила вам когда-то войти в мое сердце. И вижу теперь там рептилию.

Коварный и упрямый убийца! Да, ничего не скажешь: чистейшая работа. Ни пролитой крови, ничего компрометирующего. И великолепное алиби: «Как, я! я, столько для нее сделавший! я, еще и теперь находящийся с нею в «полной гармонии»; я, так хорошо понимающий ее страдание; расточающий ей свое ободрение, свое соболезнование, свое утешение!» Ваши соболезнования внушают желание надавать вам пощечин; ваши благотворительные советы, ваше оскорбительное отчуждение, это бескорыстие, являющееся всего-навсего бессилием или садизмом! «Никогда!» — говорите вы. А почему? Потому что мне тридцать лет, потому что я не «пассивна» и т.д. Самая жалкая девчонка наслаждается вашими ласками, как наслаждалась бы ласками первого встречного, а женщина, для которой вы все, которая от этих ласк испытала бы предел человеческого счастья не потому, что получила бы от вас (не будьте столь самонадеянным), а потому что подарила бы себя... Девчонка с тротуара или из публичного дома, которую вы презираете, получает это от вас, а я, кого вы любите всем сердцем, всей вашей добротой... Ваша доброта, поговорим о ней! Доброта друга, который видит, как подруга тонет и не протягивает руку! Но речь даже не идет о доброте — о справедливости. Справедливость — ответить на любовь, которую вам предлагают, равной

любовью. «Я способен любить только девушек не старше двадцати двух лет». Поищите других дураков! В вашей «Хрупкости» Морис говорит Кристине: «У вас уже не глаза девушки. Глаза женщины. Теперь за ними что-то кроется» (с. 211). Такое не напишешь для шикю — это надо прочувствовать. Вы способны любить только «пассивных», «инертных» женщин? Вам надо деревянных, каменных, железных, железобетонных? Но вы лжете. Ведь вы написали, говоря о маленькой полячке: «Я люблю удовольствие (физическое), которое ей даю. Даже если будет только это, я буду вознагражден» («Пурпур», с. 162). Вы способны любить только «высоких и тонких»? Бред! Надо ли отсылать вас к описанию Элен в «Хрупкости», к Лидии в «Пурпуре»? «...»¹

¹ Здесь опущены многочисленные цитаты из книг Косталя, преследующие одну цель: уличить в противоречии самому себе. Они занимают две страницы письма Андре

(прим. автора).

233

А моя «настойчивость»! Это я настаиваю, это я хочу вторгнуться в вашу жизнь? когда свою провожу в поисках выхода: как бы избавить вас от меня, а меня от вас; когда я должна желать, чтобы вы оскорбили меня больше, чем обычно, чтобы уязвленная гордость заглушила во мне боль потери вас! Когда в обмен на нечто длительное — нашу дружбу — я даю вам возможность освободиться от меня навсегда! «Акт, о котором вы мечтаете, был бы для вас огромным разочарованием». А почему? Это чисто мужская идея. Женщина отличается тем, что возвеличивает, освящает все своим воображением, своим сердцем, тогда как мужчина преуменьшает все своим критицизмом, даже своей естественной мелочностью. Больше чем когда-либо женщина любит после обладания, особенно мужчину, который ее «посвятил». Противоположных примеров нет, я это хорошо знаю от подруг. И даже если бы возникло разочарование, не предпочтительней ли оно в тысячу раз той отраве несвершения, которая не позволяет вам освободиться от человека? И если бы возникло отвращение? Какое утешение! Наконец, покончено! Косталя больше нет! Разочарование — я вас хочу! Отвращение — я вас хочу! Но, разумеется, такой поворот неприятен вашей гордости. Вы не, дорожите мною, потому что с легким сердцем согласны выпустить меня из своей жизни, но вы хотите меня похоронить с воинскими почестями. Недопустимо, чтобы женщина перестала видеть в вас героя. Вы боитесь быть развенчанным, бедный ангел! Так вот, говорю вам: настоящий герой — тот, кто дает счастье. И если я испытываю отвращение, то не от «плотского акта» с вами, а от вашей трусости перед ним. Ваше жалкое признание впервые пошатнуло мое восхищение вами. Да, я испытываю только жалость и презрение к вашей смехотворной привязанности, слишком холодной, чтобы вовлечь сюда плоть и опасаться возбуждения. Именно так, бог-оплодотворитель! Вам завидуют, а у вас дрянная жизнь, да, вам это известно! О! все эти «сверхчеловеки»! Эти слабаки! Эти паразиты! Они заслуживают того, чтобы простые смертные, чтобы храбрые парни с мозолистыми руками отрезали им башку — и кое-что заодно — потому что они не умеют этим пользоваться, чтобы осчастливить тех, кто хочет счастья больше жизни. Ах! почему вы меня не взяли, хотя бы чтоб унижить! Вы могли меня излечить от любви, которая меня убивает, и вы этого не делаете! Надо страдать благородно, а? Нужно быть возвышенным. У месье хватит сил для жертвы, когда в роли жертвы другие, разумеется. «Во всяком случае, вы не лишите меня дружбы, не правда ли?» Иначе говоря: «Я мог бы просто, без последствий для себя, дать вам счастье. Но я не хочу этого. Я желаю все-таки, чтобы вы оставались в моей жизни, именно это мне надо; удовлетворять себя, ничем не смущая, не усложняя жизни. Я не люблю ни вашего лица, ни вашего тела, ни вашего присутствия; вы можете дать свою плоть кому хотите. Но прошу вас, дорогая мадмуазель, всегда сохранять для меня чистым дух. Я уж не говорю о праве причинять вам

234

страдания». Так вот, с меня хватит героизма. Вы меня отмыли от героизма. Навсегда.

Я мечтала о мужчине, который мною руководит, пронесит меня сквозь бурю. Я выбрала конкистадора, одинокого принца, самого мужественного, самого умного, самого волевого, самого прославленного; человека, который на упрек католиков в злоупотреблении наслаждением ответил: «Так что же из того. Я заставил наслаждаться природу». Ему я хотела дать мой ум, мою молодость, мое девственное тело, мой рот, не зная поцелуя. Ему я счастлива была бы покориться. Ему я готова была принести в жертву все: жизнь, даже честь. Я ему предлагаю все это, и он не хочет! Я все предвидела и на все была согласна: во время — на потерю моего внутреннего спокойствия; п о с л е — на разрыв, его неверность, его забвение, мое отчаяние, мою испорченную репутацию. Я все предвидела, кроме того, что мой дар будет отвергнут. Я все предвидела для потом; я не предвидела, что не будет этого потом. Я хотела ваших объятий. И нашла лишь вашу «любезность» и вашу жалость; или старика, который полон благородства и отцовских чувств, или мальчишку, капризного и насмешливого. У меня психология простых и жалких людей, считающих, что между молодыми и нормальными мужчиной и женщиной, которые дружат, неизбежно желание. Я не подумала о изоциренности «крупной буржуазии» и «мыслящей элиты». Вы меня превращаете в бунтарку. Смотрите же!

Суббота

«Никогда!» Ваше «никогда». Так вот, когда вы мне будете вколачивать в голову, как гвоздь, это «никогда», я еще буду отскакивать от молотка. Ведь если бы я поверила в это «никогда», мне бы оставалось только лечь и умереть: есть вещи, от которых можно реально умереть, без особых усилий; достаточно расслабиться. Но я в это не верю и не могу в это поверить. В один прекрасный день вы будете страдать, вы заплатите за свое неумение отказаться от желания, даже минутного, и за то, что заставили отказаться от единственного жизненно необходимого желания существо, которое вас обожает. И в этот день, Косталь, не будет больше «никогда». Да, я не могу поверить, что, если когда-нибудь приползу к вашим ногам, умоляя подарить не два месяца, а хотя бы неделю иллюзии, вы мне откажете. Не столько потому, что я буду переполнена желанием. А от сознания, что это будет единственный раз в жизни. Я прошу у вас неделю, а потом все кончится, если захотите. И ради этой недели я способна гореть всю жизнь и умирать, как Люцифер, в пламени. Нет, нет, нет, я не могу поверить, что вы мне всегда станете отказывать. Если бы вы меня взяли без всякой любви, без всякого желания, как первую попавшуюся девку...

235

Воскресенье

Сегодня день первого причастия. Восхитительное солнце. Сокрушающий майский день. Я плакала, услышав голоса двух девочек. Еще несколько лет, и они, как и я... Я бросилась на колени у постели и сказала: «Господи! Дай мне силу его убедить!»

Я сейчас же понесу это письмо на почту в той же руке, что и молитвенник. Вот до чего вы меня довели. Ведь я не написала бы ничего подобного, если бы была вашей.

(Это письмо пересеклось с письмом Косталя)

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

6 мая 1927 г.

Дорогая мадмуазель, последнее мое письмо было, скорее, в кавалерийском, нежели рыцарском жанре. Едва оно ушло, я испытал угрызение. Простите.

По логике, это письмо должно было внушить вам мысль, что я насмехаюсь над вашей ситуацией. Но я не только не насмехаюсь, я ее чувствую и уважаю. Тем не менее, нужно вам сказать почему и нужно, чтобы вы поверили мне на слово. Вы ведь не можете себе представить, что я мог оказаться в ситуации, похожей на вашу. Я не буду ее описывать. Помимо того, что это касается моей личной жизни, я и сам себе не могу ее объяснить. Я подумал, что это было испытанием, подобным тем, которым подвергаются будущие посвященные, или нисхождению в ад античных богов, чередующих день на земле с днем в священных пещерах.

Много лет назад, в течение нескольких месяцев, скажем, полгода, я был «замурован», как вы. Во мне был избыток нежности, готовой (о, господи) излиться на любую, лишь бы она была желанна (потому что я, в сущности, любил только тех, кого желал). Но зацепки не получалось. И у меня была уверенность, что мир полон девушек, которые были бы счастливы от этой нежности и того наслаждения, которое я мог бы им дать; и они желают его тщетно, как я желаю тщетно. Но зацепки так и не получалось. Знаете ли вы, мадмуазель, что, проходя по улице, я прикасался к рукам, желая человеческого контакта? Нужно, чтобы вы это знали. Я был тогда моложе, моя свобода была безграничной, и у меня были деньги, и я не знал, куда их деть, и я всегда был готов заплатить надлежащую цену за счастье других, которое любил бы, как свое. Но зацепки не получалось. Мое желание пугало, не знаю почему. Я видел, как от меня шарахаются существа, которым я желал только добра и от которых я ничего взамен не требовал, кроме того, что они бы сами себе пожелали. Однако мне казалось, что нежность выступает на моем лице, как

236

испарина. Надеюсь, что этого не было видно. Я приближался к людям, а они шарахались в разные стороны, как бараны, словно я ехал в автомобиле: мир утекал сквозь пальцы. Это нечто незабываемое. Это подобно выражению страха в глазах, которые хочется закрыть под отцовскими поцелуями. Эти девушки, с которыми обращались, как с девушками-невестами... Не знаю, что произошло. Может быть, я совершил что-то противоестественное, и это отразилось на моем лице. Может быть, это было следствием недоразумения, клеветы... Повсюду вокруг я видел людей, сцепляющихся друг с другом и уходящих парами. Но для меня зацепки так и не происходило. Это было весной, летом; подобные вещи всегда случаются летом (август страшен для неудовлетворенных); «слишком прекрасные дни», природа, которая кажется счастливее тебя... Богу известно, что я это пережил! И все время это наваждение, эта полная невозможность работать, оторваться от наваждения. И эти дни без любви, падающие друг за другом. Еще один день без любви. Снова побежден этим днем. И, однако, он «засчитывался»; он приближал вас к смерти, тогда как только счастливые дни имеют на это право. Я сохранил об этом времени ужасное воспоминание и громадное желание прийти им на помощь, тем, кто умирает от желания отдать себя и не находит, кому себя отдать. Этот случай особенно драматичен для женщин по тысяче хорошо известных причин: их молодость проходит быстрее, их зависимость, общественное мнение, подстерегающее их, и т.д. Я готов вас упрекнуть в том, что вы недостаточно энергично говорили о своем случае, как если бы частица вашей трагедии от вас самой ускользнула.

Как я выкарабкался из этого? Не знаю. Все «наладилось». Как? Да «так». Вы скажете, что это странный ответ мужчины, привыкшего выражаться ясно. Но другого ответа у меня нет. Природа какое-то время действовала против меня; потом стала за меня. Как в спорте: то ветер дует против вас, то за. С тех пор я стал больше доверять природе.

Наконец, сравнение, аналогичное сравнению из моего последнего письма. Птица случайно залетела в комнату. Она бьется в поисках выхода. Но его нет. Или же есть, но она не видит, ибо птица не все видит, бедняжка. Вдруг она различает полоску света. Это приоткрытая дверь. Она туда бросается и оказывается в туалете, освещенном маленькой лампой. Но там снова — никакого выхода. И опять она бьется о стены. Эта птица — вы. А этот туалет с маленькой лампой — я (сравнение свидетельствует о моей скромности).

Так как, естественно, во всем, что касается наших отношений, — ничего не меняется. Мне, вас «взять» (как вы удачно выразились)? Нет, никогда.

Черт возьми! В этот раз длинное письмо. Верьте в мою симпатию.

К.

237

P.S. Забыл вам сказать, что на протяжении того времени, когда я не мог «подцепить» женщины, у меня было четыре ночных подружки, одна другой милее, и я их очень любил. Следовательно, я был замурован чисто умозрительно.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА КОСТАЛЯ

У Пьераров. О прелестная! Я хотел бы взять ее в ладони и поднять, как Венеру в раковине. Абсолютно соответствует моему росту. Чуть меньше — я бы выступал за края; чуть выше — было бы многовато материи. Она пользуется большим успехом, который мне льстит, как если бы я был ее отцом. Танцую с ней; она танцует как девушка столь благовоспитанная, что я спрашиваю себя, не делает ли она это нарочно, чтобы меня провоцировать.

Она пришла с Соленье. Следовательно, ни папы, ни мамы. Божественное отсутствие! Почему оно не может длиться вечно! Если бы девушки знали, что они выигрывают, будучи найденышами!

Нет глубокого желания ее тела. Ничего от торнадо желания (постоянно сохнувший рот, ноги, покидающие вас и т.д.). Желание говорить милые ласковые слова, желание, рожденное ею, но эти слова могли бы пасть и не на нее...

Какая кошка, когда она смотрит, как я ставлю посвящение на книге, которую принес, словно ожидает, что из моих букв выпорхнет птичка (дома я с благоговением поцеловал обложку книги, которую намеревался ей подарить). Вылитая кошка, которая, сидя на вашем столе, следит, как вы пишете. И снова кошка, когда мы садимся рядышком и я чувствую, как ее тело слегка опирается о мое, словно ручеек о берег.

Моя рука — на спинке ее кресла, в жесте ласки и обладания. Один раз она положила на мгновение свою руку на мою. Однако она сдержанна.

По-видимому, рада мне нравиться, но сюда примешивается восхитительная простота и естественность. Ни тени кокетства, она очаровательна. Одета просто, почти небрежно. Может, это аффектация? Она говорит, что не любит шумного общества, не любит роскоши и т.д. Возможно, это и правда, иначе ее можно было бы встретить повсюду. За исключением того, что она говорит о своем характере (а она говорит о себе искренне, похожая в этом на большинство девушек), ничего из ее слов не запоминается. Ее интеллектуальное воспитание — нулевое. Но тем лучше: оставим воспитание для дураков. В девочке, которая добилась бы какого-нибудь диплома, даже если бы затем забыла все, чему ее обучали, все равно, мне кажется, остался бы, как в прекрасной вазе с тошнотворной жидкостью, отвратительный привкус полунауки, проглоченный когда-то.

Кажется, ей двадцать один год. Положим, двадцать два. Не верится в это, она выглядит очень юно.

Она говорит о своем отце. «Папа раньше очень интересовался физическим воспитанием. Это фанатик».

– Он чем-то занимается?

– Нет. Он ничего не делает.

При этих словах она смутилась. Стыдится, что отец живет на ренту! Когда она произнесла слово «фанатик», я вздрогнул, словно прикоснулся к ужу.

Она говорит о своих кузенах. Тот факт, что у нее кузены, кажется мне странным, оскорбительным, почти вызывающим. О найденыши!

Я так же плохо воспитан, как она хорошо. Ведя ее в буфет, я не снимал руку с ее талии, чтобы показать *urbi et oibi*¹, что она моя. Моя вульгарность, моя грубость, мое наивное самомнение. Младший кавалерийский офицер. Иногда человек с приятным и умным лицом внезапно становится идиотом. Его улыбка делается одновременно нелепой и фатовской; его движения — неловкими и манерными. Что случилось? Оказывается, он встретил женщину, которая ему понравилась. И его внутреннее состояние такое же. Потому что присутствие женщины, которая нравится, снижает интеллектуальный уровень мужчины, подобно тому как лед в жидкости снижает ее температуру. Вот почему тот, кто любит человечество, не может любить женщин. Но я насмехаюсь над человечеством и люблю женщин.

Я бы охотно пригласил ее в кино, но фильмы кишат голыми альфонсами — нет уж, спасибо! И кроме того, это не подходит юной особе в духе 1890 года. Напрашивается

1 Граду и миру

(лат.) (благословение римского папы).

238

Опера-комик. Говорю ей, что во вторник у меня есть ложа. «Я спрошу у родителей и позвоню вам».

В ложе бенуара я закупаю все места. К сожалению, придется считаться с этой бандой музыкантов и с их страстью к шуму. Ну да ладно, раз не найдется места для слов, останутся жесты.

В глубине души я боюсь, что она откажется, потому что она не настолько раскованна.

На следующий день. — В час ночи сердце мое билось столь же сильно, как и в восемь вечера, когда мы расставались. И вот природа послала мне сон, в котором этот ребенок меня обманывал, словно для того, чтобы я знал, что она уже способна заставить страдать.

О! Не страдал в буквальном смысле слова, но испытывал беспокойство.

Ожидание телефонного звонка: тревожное утро; я думал, что телефон сломается как раз в тот момент, когда она позвонит; вздрагивал от каждого велосипедного звонка на улице.

Звонок. Она придет. Когда я слышу ее голос по телефону, богу садов больше нечему меня учить — так же, как и тогда, когда я с ней танцую, я могу написать, как пророки: «Тир, тебя будут искать, тебя больше не найдут».

Я мечтаю, чтобы этот голос, когда я его услышу по телефону, ударил мне по нервам, или же я покину Францию, чтобы его никогда не слышать.

Видимо, эти родители не начитанны, раз отпускают ее одну с Пьером Косталем! Прелестные нравы! После этого, если что-то случится, кто виноват? Приводит в уныние мысль, что во Франции 1927 года все принципы истощились.

Среда — Опера-комик — Мадам Баттерфляй.

После Мадам Баттерфляй.

Ай!

Вчера — младший офицер; сегодня — школьник.

Ни одного жеста со стороны объекта. Вернее, один-единственный: во втором акте он чуть отодвинул свой стул от моего. Будет ли объект благородным? От этой мысли — мурашки по спине. Руки опустились: «Все предстоит делать!..»

Парализован. Ее сдержанностью. Комичностью романиста, который обнимает девушку в бенуаре, в Опера-комик. Я хотел «изобразить 1890», но ушел далеко вперед. Нескромное слово капельдинерши дало понять, что ложа принадлежит мне; как объект не мог этого понять. Комизм слишком подтасованного вечера.

Все чувство моего превосходства над нею не помогло мне выйти из траншеи. Оно помутилось, и я вижу только то, в чем я ниже ее: ей двадцать лет, и она очаровательна. А я — я интеллектуал, старый тридцатичетырехлетний чугунок для переваривания мыслей.

Разговор — настоящее болото пошлости. Я смотрел на ее руки, словно надеялся, что она будет ломать их в тоске от того, что я не объясняюсь. Когда я ей говорю: «Это ужасно режет слух», она отвечает: «Да». Это да меня убивает; а разве я ожидал, что она бросится в объятия со словами: «С тобой, обожаемый, ничего не может быть скучным!» Ситуация становится настолько невыносимой, что я предлагаю уйти. Она снова говорит «да» без обиняков, что убивает меня вторично (какая непосредственность в этом «да»! Интонация куклы, которой нажимают на живот). Мы проходим перед капельдинершами, лица которых весьма многозначительны: «Ага! вот парочка, которая развлекалась! Но им уже невтерпех, и они бегут в отель».

Короче: душ в бенуаре.

Этот вечер прояснил, по крайней мере, две вещи: она не влюблена в меня, и я не влюблен в нее.

Может быть, никто из нас не хотел отчаливать первым, как гонщики на велодроме. Может быть, они действовали из расчета, чтобы поддержать во мне чувство ожидания. В таком случае неосторожный расчет, поскольку я не знаю, что меня удержит, чтобы не бросить ее. Я не тот человек, который настаивает, если женщина сопротивляется; одна потеря — сто находок; все это взаимозаменяемо. Мне нравится ощущение, что я больше не люблю и что остаюсь свободным: я беру от этой забавы то, что хочу.

Если сегодняшняя провал не настолько катастрофичен, чтобы от него нельзя было встряхнуться, он как раз и есть та самая сокровенная глубина, из которой взлетают очень высоко. Какой прыжок с разбегом, взятым в этом отходе. Я напишу ей: таким образом мы не оставим школьный жанр. Этим письмом я переверну ситуацию, перехвачу у нее инициативу, припру ее к стене. Я открыл свои карты, пусть теперь открывает свои.

Кодекс чести или условности был изобретен в качестве прямой противоположности естественной морали, чтобы позволить нам в любом случае быть в выигрыше.

Если некая Розина — уродлива и атакует нас, используем мораль в своих целях: «Вы предлагаете мне стать негодяем! Оскорбить так вашего отца (или вашего супруга, моего лучшего друга!»). Но, если она прелестна и защищается, тогда: «Нет, я не такой болван, чтобы оставаться бесчувственным. Я не нанесу вам этого оскорбления».

Эти сцены разыгрываются во всех сферах. Если вы оскорблены: «Как, убивать из-за такой глупости. Это ли диктует мораль?» Или наоборот: «Я убил, потому что был оскорблен. Моя честь...» И т.д.

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

МАДМУАЗЕЛЬ СОЛАНЖ ДАНДИЙО

Авеню де Вилье, Париж

12 мая 1927 г.

Сознайтесь, мадмуазель: вчерашний вечер — что-то не то, и мы представляли печальное зрелище. Вы меня очень обескуражили — оледенили. Вы сделали нарочно? Или я осел?

Для вас, конечно, не новость, что я испытываю к вам особую симпатию. Если она вам неприятна, оставим это. Мне, конечно, будет жаль, может, даже досадно, но в конце концов я не хочу казаться нескромным, а кроме того, мир достаточно велик. Если, напротив, будучи умной девушкой, вы пожелаете, чтобы мы снова попытались счастья, известите меня. Но тогда надо ли мне добавлять, что вы мне разрешите некоторую фамильярность и ничтожнейшее из тех движений, которые вчера ожидали от нас не только Природа, но и само Общество; эти важные моральные персоны пребывают сейчас в недоумении и даже в ярости, вызванными нашим поведением. Только от нас зависит их успокоение. Надо лишь, чтобы вы ясно дали мне понять свои намерения, поскольку я не чувствую готовность подарить вам дружбу в ангельском духе, а кроме того, еще меньше я готов к тому, чтобы меня презирала женщина, чего со мною никогда не случалось¹.

Напишите или позвоните. Лучше всего — хорошее письмо: это надежнее. Не считая всех преимуществ, которые дает вещь написанная; если вы меня понимаете, я себя понимаю.

Повторяю: без письма или без телефонного звонка, извещающего, хорошо или плохо я вел себя вчера, мы больше не увидимся. Это зависит только от вас.

До свидания, моя маленькая мадмуазель, или прощайте. Я, может, готов испытать к вам чувство с подозрением на глубину (но в этом я еще не совсем уверен). Здесь есть слабое желание, упустить его было бы несчастьем. Посмотрите, неприятно ли оно вам или нет, не думая о моем удовольствии и советуясь только со своим. И скажите мне с той же откровенностью, с той же доверительностью, которую, льщу себя надеждой, я засвидетельствовал в этом письме.

Косталь

1 Он лжет

(прим. автора).

240

Послал ей посредственное письмо. Не странно ли: когда обращаешься к незнакомой или полузнакомой женщине, которая вам нравится, избежать стиля приказчика удастся только благодаря страсти или цинизму? Язык страсти здесь неуместен; это письмецо — компромисс между вздором и дерзостью. Она полюбит вздор, не почувствует дерзости и позовет меня через двадцать четыре часа.

В реальности я ни в чем не уверен. Я неспособен предвидеть ее реакцию в данном случае. Когда я действую с нею, у меня впечатление, что я чиновник с набережной Орсе́: делаю все на цыпочках и полагаясь на милость Божью.

Для меня есть что-то режущее в представлении, какое счастье доставило бы другим женщинам это письмо, а я им отказал. Но в этом представлении есть и своя прелесть.

То, что я нашел в этом прелесть, заставляет меня подумать, что я свинья. Свинья ли я?

Однако Брюнет, например, делает мне комплименты: «Тебе не кажется, что шикарно иметь такого родителя? «

Он даже удивляется: «Почему же ты такой милый?»

Все дело в том, что есть существа, которых я люблю, и те, которых я не люблю. Все очень просто. В этом ключ.

Нет, ни сердце не похищено, ни плоть, но что-то взято. Какое глухое и страстное желание возникает во мне: нравиться ей! Если бы я различал в ее голосе дрожь...

Мадмуазель Дандийо не прислала «Хорошее письмо». Она позвонила. Смысл ее ответа: «Признаться, я не очень хорошо поняла ваше письмо. Но я к вам очень расположена. Почему бы нам не встретиться?» Они договорились пойти на концерт. Косталь выбрал самый дорогой в Париже, потому что, когда рядом женщина, речь идет не о том, чтобы хорошо, а лишь о том, чтобы дорого.

Выход хористок на сцену напомнил выход арестантов из ворот Сэн-Лазара: старые, бесформенные, страшные, фантастически безвкусно одетые. Расположились музыканты, коротконогие спички с платочками на шее, как у едоков. Усилия этих несчастных придать себе артистический вид (прядь на виске, волосы на шее и т.д.) могли вышибить слезу. Все это, усевшееся на садовые железные стулья перед бессмысленной декорацией патронажного зала, — мерзкая «листва» и разорванные «пилястры» — показалось столь феерическим зрелищем некоторым зрителям, что они стали разглядывать его в лорнеты.²

1 Т.е. сотрудник Министерства иностранных дел, которое находится в Париже на набережной Орсе́.

2 Надо ли отмечать, что эта глава — нечто вроде мистификации, созданной кем-то, кто время от времени бывает под мухой, и не способна задеть людей, обладающих юмором? Можно сделать карикатуру на то, что любишь, причем, чем больше любишь, тем острее. Чего только я не пишу об Алжире, Испании! Я отношусь с симпатией к любителям музыки, признателен музыкантам; находясь на столь твердой почве, я могу себе позволить несколько прыжков. Если не ошибаюсь, в других книгах я говорил о музыке (церковной, русской, испанской, арабской...) со всей серьезностью и волнением, поэтому стоит простить мне эти страницы

(прим. автора).

Конечно, что нельзя требовать, чтобы лицо каждого было отмечено печатью гения. Но почему им не надевают маски, — как в античном театре; или же почему их не прячут в овраге, как в Байрейте?

Месье был весьма деликатен. Все же Соланж согласилась. Но он чувствовал, что она намерена согласиться с любыми его словами. Он взглянул на присутствующих, и поразительная уродливость этих мужчин и женщин, непотребная, смешная и грязная декорация изгнали его взгляд. Изгнанный, взгляд скользнул, поднялся к потолку, в надежде найти там росписи с фигурами благородных людей. Но и на потолке был лишь позолоченный гипсовый орнамент, грязный, словно закопченный заводским дымом: по всей видимости, в этом зале дышало не одно поколение. Если бы рядом не было Соланж, Косталь смылся бы моментально. Он уже вышел из терпения.

Вскоре включили свет; теперь он стал резким и в зале, и на сцене. Это чудовищная идея: они должны быть погружены в ночь.

Запаздывали с началом; от нетерпения зрители стали постукивать подошвами. Но через восемь секунд все успокоилось. Потом снова кратковременный кризис. Удивительные порывы дурного настроения в этой толпе, удивительные своей непродолжительностью. Даже порыв патриотизма мог бы продлиться на несколько секунд дольше.

Наконец, дирижер опустил палочку, и все присутствующие на сцене одновременно стали производить шум.

Музыканты с яростью возили смычками; Косталью показалось, что он чувствует у скрипачек запах подмышек, и это его взволновало: «Это самое лучшее в спектакле», — подумал он.

Соланж, сидевшая наискосок, приблизилась к нему. Он погладил ее шею, гладкую и точеную. Он заметил, что ее лицо совсем рядом, будто она хочет дышать его воздухом. Островки кожи замелькали в шемизетке, как песочные мели в белом соляном озере. Черты ее лица, которые ему не нравились, он воспринимал как запасный выход из зала, через который, в случае чего, можно ускользнуть, или как двусмысленные оговорки контракта: например, тяжеловесный подбородок позволит ему в один прекрасный день покинуть ее с легким сердцем. Он поцеловал ее в затылок, и тот не сплосковал (девичий запах волос). И его кровь шумела, как листья, когда рука скользила по платью, чувствуя подвязки и длинные ляжки. Он удивился: столь серьезная девушка разрешает ласкать ляжки на глазах публики! Он не понял, что она уже хотела то, что хотел он.

— Я считаю, что в этом первом движении (симфонии) есть что-то... как бы сказать? угнетающее, — сказала мадмуазель Дандийо, которая, действительно, была угнетена, но другим. — А вы?

— Я? Я ничего не считаю. Положа руку на сердце, вы любите музыку? — спросил он секунду спустя с подозрением.

Она подняла брови с видом: «Так себе...» Но уточнила:

— Чего я не люблю, так это церковной музыки.

242

«Ах! — подумал он, — какое отсутствие позы! Решительно, меня восхищает в ней то, что она ничем не интересуется. Она не стремится ослепить вас своей специальностью. А то, что у нее отсутствуют мысли, — самое надежное для женщины средство не иметь ложных».

Он обнял ее. Теперь она сидела наискосок, привалившись к нему. Он притворился, что

поднимает с пола какую-то вещь, и поцеловал ее, чувствуя сквозь юбку каучуковый запах ее пояса. Иногда он подолгу прижимался к ее затылку, словно медленно вводил в себя все, что было в этой женщине. «Нет! — подумал он с восторгом, — никто никогда не вел себя на публике с женщиной так плохо, как я!» Ему было радостно думать, что, если бы он увидел здесь парочку, которая вела себя так же, он должен был бы сдержать себя, чтобы не сказать: «Послушайте, ведь существуют отели!» Он всегда любил изобличать себя и тем самым испытывал веселое чувство своей многоликости.

Чуть отклонившись назад, он заметил рядом с Соланж молодую женщину; откинувшись на спинку своего кресла, она слушала с полуоткрытым ртом и закрытыми глазами. Она не была прелестной, но Косталь ее захотел: 1) потому что считал приличным, что в ту минуту, когда он впервые ласкает девушку, он хочет другую; 2) потому что иллюзия ее сна не могла не внушить мысли воспользоваться ее сном; 3) потому что ему показалось, что, дабы испытать подобный экстаз от столь нелепого феномена, как эта музыка, надо быть отчасти неврастеничкой; вообще он любил только здоровых и простых девушек, вроде Соланж, вот почему сейчас ему было приятно пожелать неврастеничку.

Внезапно молодая женщина безумно откинула голову, как птица каракара, когда она заканчивает свой крик, даже со сладострастным выражением. Видно было, что один из этих звуков вонзился в самое ее чувствительное место.

Рука Косталья пробралась за кресло Соланж и легла на спинку следующего кресла так, что плечо незнакомки опиралось на нее. Но его легкие подавливания не вызвали никакой реакции со стороны молодой особы, совершенно растворившейся в двувязных нотах. Он оставил дело. Тем более, что от этой гимнастики начались подергивания в руке; игра не стоила свеч. Особу, достаточно глупую, чтобы поверить, что он действовал контрабандно, скрытно, позорно, как ризничий, можно было бы смутить тем, что: 1) Косталь в самом деле хотел сделать «подкормку» для серьезной интриги, встречи с незнакомкой; 2) что «подкормка», не пробуждая внимания Соланж (например, записка передается незнакомке за спиной Соланж), была прекрасным спортом, одним из тех номеров, во время которых оркестр замирает и, таким образом, то не была бы работа ризничьего — скорее, работа архангела.

Шум на сцене прекратился, слышались аплодисменты, хотя у

243

некоторых зрителей и возникли движения ненависти к тем, что аплодировали..

Затем музыка приняла такой поворот, что стало ясно: это чудесная классика.

— А это вы любите? — спросил Косталь.

— Это меня не беспокоит.

— Это вас не... Грандиозно! Совершенно грандиозно!

— Вы не поняли, — сказала она чуть обиженно. — Кубистская музыка, которую исполняли перед этой, нагоняла на меня страх. Тогда как эта меня не беспокоит.

— Я вижу, что вам на это чертовски наплевать, — сказал Косталь, — и это тоже очень хорошо. Вы смелый ребенок.

— Но мне вовсе не наплевать! возразила Соланж, полная женского гения портить свои преимущества.

«Да-да, — сказал Косталь галантно. — Вам чертовски наплевать». Но поднялись многочисленные «тсс!»

Внезапно жуткие крики сотрясли сцену. Можно было подумать, что это женщина, которая в момент родов узнает, что она потеряла наследство и одновременно узнает, что брошена любовником. От этого визга Косталь сморщил лицо, инстинктивно желая заткнуть уши, но зал разразился громом «браво!»: столь глубокие разногласия ясно указали ему, что его место не в толпе.

Косталь вспомнил поистине бессмертные страницы «Новой Элоизы», где выражены взгляды французов на музыку: «Они признают только утробные звуки; они восприимчивы только к шуму», — писал Руссо. Он добавил бы сегодня: «И к рекордам».

«Я нахожу, что женщины не созданы для пения», — сказала Соланж. «Глубокая ли это мысль? — подумал писатель. — Но что такое глубина? Ночной горшок тоже глубокий».

Обезумевшие голоса (молодых людей) кричали «бис!» И без конца слышались хлопки: публичное выражение восторга в Европе сродни тем, что встречаются у дикарей Океании. Три-четыре раза певцы выходили на аплодисменты. И Косталь подумал: «Бедняги!» Дирижер, в высшей степени шарлатан, (из-за чего особенно нравился женщинам) тоже несколько раз уходил и возвращался на сцену. Несомненно, для того, чтобы сорвать дополнительные аплодисменты. Эти возвращения на сцену были поистине клоунадами. Но весь зал млел.

Затем, словно для того, чтобы излечить барабанные перепонки, музыканты-гении, вернее, почтовые чиновники, заиграли потише: это напоминало гармонию клистирной трубки. В отдельные моменты буквально ни звука не было слышно. Эти моменты были великолепны.

Косталь посмотрел на зрительный зал. Он состоял на одну треть из людей, спонтанно наслаждающихся шумом; еще на одну треть — из людей, находящих удовольствие в умственных операциях: вспоми-

244

нали все, что читали и слышали о том или ином отрывке; и, наконец, из людей, не испытывающих никаких чувств, за исключением тех, которые можно назвать никакими. Однако все, чтобы принять манну, садились в самые изысканные позы. Свины с биноклем притворялись, что малейший шорох в зале портит им экстаз. Свины в очках склонялись к своим чадам (в зале были и шестилетние дети, приведенные сюда, конечно, в наказание за серьезную провинность), чтобы отметить для них такой-то священный пассаж, дабы чадо знало, что именно сейчас надо взволноваться. Большинство женщин, подобно соседке Соланж, думало, что неприлично находиться здесь с открытыми глазами. Всеобщее обезьянничанье заставляло слушателей подражать друг другу — принимать проникновенный вид — тогда как со сцены продолжала ползти нескончаемая звонкая слизь.

— Они порочны, — сказал Косталь, блуждая по залу осуждающим взглядом. — Не говоря уже о балбесах: ведь ослу нужен звук. Во всяком случае, нездоровое место, и я бы не хотел брать на себя ответственность: опекать вас здесь дольше. Хотите, уйдем?

— Да.

Опять ее «да»! В той же тональности. Ему показалось, что, если бы он предложил: «Останемся» или: «Пошли ко мне» или: «Уедем на Камчатку», она ответила бы своим «да». И когда он мысленно повторил это с ее интонацией, что-то шевельнулось в сердце, как птица в гнезде.

Итак, они вышли из храма коллективного самовнушения. Косталь вспомнил, что в двенадцать лет бабушка водила его в подобный же храм. Там исполняли «Мнимого больного». Когда дошли до сцены, где актеры гоняются друг за другом по залу, старая дама, уже давно

выказавшая признаки нетерпения, встала: «Пошли, хватит. Это слишком глупо». Незабываемое впечатление ребенка, у которого и без того уже была тенденция к осуждению. Это была семья, которую невозможно провести общепринятым.

Он мог бы взять такси, но предпочел проводить ее домой пешком: оба испытывали желание встряхнуться. Он был настолько уверен, что добьется от нее всего, что пожелает, что считал полезным сохранить эту надежду до следующего раза: что от нее останется, когда он ее возьмет? Кроме того, таков был его принцип: мужчина с определенными качествами должен упустить несколько удобных случаев. Привыкший к тому, что у него получается, он рассчитывал проявить инициативу только в случае неудачи.

Недалеко от ее дома он остановил Соланж под фонарем и замер, держа ее за руку выше локтя. Она, конечно, догадалась, что он собирается ее поцеловать, так как — робость или стыд? — отступила на несколько шагов, чтобы очутиться в тени. Он приблизился; ее руки были опущены; она не подставляла лица. Когда он наклонился, чтобы поцеловать ее в губы, она резко опустила голову да так низко, что рот Косталя наткнулся лишь на край волос. Пальцем он поднял

245

голову за подбородок, поцеловал ее в лоб без малейшего с ее стороны жеста. Чуть охлажденный, он пошел, и она за ним. Он сделал над собой усилие, чтобы любезно спросить: «Хотите, пойдем в Булонский лес в пятницу после обеда?» Лицо ее было приятным, но абсолютно спокойным, когда она сказала: «Да». «У вас нос блестит, — заметил он. — Подпудрите».

Едва Косталь, попрощавшись, повернулся спиной, мадмуазель Дандийо, не провожая его взглядом, как считается принятым, нажала на кнопку ворот и потащилась по лестнице, ибо лифт не работал. Спустя секунду после начала восхождения ее охватило тягостное предчувствие, что до пятого этажа, где она жила, не доберется без происшествия, смысл которого ей был неясен. Она поднималась, держась одной рукой за перила, а другой — за стену, о которую цеплялась сумка (ее кожа ободралась о какой-то гвоздь). Она доплелась до дверей квартиры, как обессиленный пловец достигает буйка, открыла, прошла в свою комнату и села на кровать. «Что со мной», — спросила себя вслух, соорудив гримасу. Последний, полуночный трамвай пронесся со страшным шумом; она снова сморщилась, сказав: «О, эти трамваи!» И еще раз, услышав сигнал автомобиля. Тогда ей показалось, что она зажгла свет не только в прихожей, но и во всех остальных комнатах, и пошла туда. Все ее тело сотрясала дрожь, подобная той, что сотрясает корабль, когда при движении винта начинает валить пар. Она улеглась; вцепившись руками в матрас, повернулась на правый бок, потом на левый, как труп собаки, которую переворачивает волна. Она встала, нетерпеливо начала стаскивать платье, не расстегнув его, так что голова застряла. Она схватила со стула журнал, судорожно разорвала пополам и каждый кусок — еще пополам. «Неужели у меня будет нервный припадок?» Внезапно содрогнулось сердце, она побледнела; подошла к зеркалу с тайным желанием испугаться себя самой; потом неистовый бросок к умывальнику, и, в то время как она держалась одной рукой за раковину, а другой поддерживала лоб, ее вырвало.

Почувствовав себя лучше, надела рубашку и легла на постель, не снимая туфель. Любовь Косталя смешивалась в ней с облегчением после рвоты. В голове отчетливо возникла фраза, загадочная и необходимая, как слова, — вписанные в странный пергамент: «Он оставил меня в глубоком покое». Вся ее жизнь до этих последних дней показалась ей гладкой счастливой поверхностью. Потом упал снаряд. И теперь пейзаж изменился, потрясенный; однако спокойствие и свет остались прежними и при этом пейзаже. Она перевернулась и вытянулась на животе в позе очень маленькой девочки, которая ей была знакома, ища руками прохладу под подушкой (как это делают в пустыне, зная, что в глубине песок холоднее). Она повторила:

«Он оставил меня в глубоком покое», сбросила туфли, пошаркав ими о

246

край постели. Затем взяла с полки роман, подаренный Косталем, легла, потушила свет, спрятала книгу под одеяло, заложив палец между страниц.

ТЕРЕЗА ПАНТВЭН

Долина Морьен

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

15 мая 1927 г.

Мой любимый,

я страдаю, я испытываю искушения, я страдаю. Вчера во время службы, когда священник читал литании Св. Деве, я примешивала к ним ваши. «Сердце нежнейшее. Сердце дикое. Сердце восхитительное. Сердце без трещин». И я подумала, что должна добавить: «Miserere mei». — Пожалейте меня».

Пожалейте меня, сударь, я бедная девушка. Жалость — чудо, а не шествие нашего господина по водам. Жалость самодостаточна. Я думаю, что она способна обойтись без объекта.

Возьмите меня к себе на колени, чтобы я не умерла.

Мари

P.S. Дайте знать, что вы меня жалеете.

АНДРЕ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

Вторник, 19 мая 1927 г.

Ваше последнее письмо пересеклось с моим. Оно убило злобу, не оживив жара. Вы умеете ковырять раны, которые якобы лечите... Вы превосходно изливаете сок и одновременно кислоту, вы одновременно лижете и кусаете, как зверь. По натуре вы добрый; не портит ли вас извращенный ум? Плохой ли он? Достаточно ли в вас благородства, чтобы испытывать угрызения? Играете ли вы в хорошего? Играете ли вы в плохого? Или вы только играете? Это, может, ужасный закон, что возвышенный человек одалживает и одалживается, но никогда не даёт. Вы, впрочем, написали: «Творец тот, кто от себя отрекается». Но вы... вы доходите до изощренности, культивируя свое «я». Все, что рождается в вас, двулико. И самое волнующее — первое впечатление, которое вы производите на всех: ваши простота и прямота. Вы проливаете поочередно, почти одновременно, яд и лекарство, но так, чтобы никто не мог отравиться ядом и вылечиться лекарством. Остаешься в двусмысленном положении, которое само по себе — страдание, хотя элементы страдания в нем и не преобладают. Перед последним вашим письмом меня поддерживал только ужас, внушенный вами: потому что предшествующая записка была шедевром чистой и натуральной скверны (это высшая банальность — скверна в существе, которое ставят превыше других. И все

время,

247

проведенное в борьбе друг с другом, когда можно бороться плечом к плечу!). В этом ужасе было что-то прочное, в чем я почти находила покой. Ваше последнее письмо — абстрактность постскриптума, который должен восприниматься как шутка, — показывает столько понятливости, что не знаешь, что и думать... Помимо воли тянешься к вам, как младшая сестра к старшему брату, и этот порыв когда-то был мне знаком. Вы меня закалываете, и у вас же я пытаюсь найти защиту. Кроме того, говоришь себе: «Если он так хорошо понимает и ничего не желает сделать, чтобы меня спасти, он преступник вдвойне». За это злишься на вас еще больше и все-таки не можешь не доверять вам. Не можешь полностью ни любить, ни презирать: вас любишь в чаду осуждения и гнева; вас презираешь, не зная: а не любовь ли это? Так этого вы хотели, вы, прикидывающийся страстным, вы, хозяин всех своих поступков! Вы, что вроде черного мага, который с одинаковым хладнокровием изготавливает чувства, которые желал бы, чтобы испытывали к нему другие, и свои собственные чувства по отношению к другим? Или все это в вас спонтанно, естественно, наивно, бессознательно? Не знаю, чем вы являетесь для тех, которые вас не любят, но знаю, чем вы являетесь для тех, которые вас любят. *Flagellum amantibus*¹. Бич для тех, кто его любит.

Что касается меня, то, если вы играете со мной в омерзительную игру, что я склонна подозревать в эту секунду (уточним: в ту секунду, когда я пишу эти строки, потому что в иные минуты я твержу себе, что вы просто ребенок, прилипший к человеку, одаренному мыслью и опытом, безвыходная смесь Фауста и Элпьясна², иначе говоря — монстр; но, если вы этот монстр, вы за это не отвечаете, и вам простительно), и, если вы играете со мной в эту игру совершенно сознательно, я просто скажу: я недостаточно сильна для вас, я — «пас»! А впрочем, я больше не играю. Вы мне давали когда-то частицу внутреннего изобилия, жизненного движения. Сейчас ничего не осталось. Вы иссушили все, как ветер. Вы мумифицировали такую свежую, такую глубокую, такую безграничную нежность, которая у меня была. Вы стали чем-то вроде меня: вы уничтожили чувства, которые расцветали и способны были принести восхитительные плоды. До такой степени вы отняли (от этого вы меня, по крайней мере, излечили) у меня тоску и страх перед старостью. Я хотела остаться молодой на то время, когда бы я любила и была любимой, потому что, по-моему, сорокалетняя женщина в постели... А теперь какая разница? Сейчас бывают минуты, когда мне кажется, что я ничего больше не могу вам дать, минуты, когда я ищу в себе какие-нибудь живые росточки к вам; мне кажется, что вы с корнем вырваны и что даже если бы вы заболели или умерли, мне бы это было

1 Любовник-флагеллянт

(лат.).

2 Герой трагедии Расина «Аталия».

248

безразлично. По правде сказать, уже в Париже мне ничего не стоило вас бросить. Я вернулась. Я была опьянена свободой. Восемь дней я была сравнительно счастлива. Как только я вернулась, я убрала ваш портрет со стены комнаты. Но это, скорее, для самоуспокоения. Потом я его повесила обратно. А почему бы и нет? Мне от него ни жарко ни холодно. Я себе представляю, торжественно прощаясь с вами, как в ближайшее время, когда я приеду в Париж, вы меня поцелуете как сестру (по крайней мере, получить от вас поцелуй). Это будет единственным, что я попрошу. Знайте, раз и навсегда: я никогда ничего не кланчила. Ни вашего присутствия, ни дружбы, ни близости, ни любви. Я вам подарила, а вы

отнеслись с презрением. В этом существенное различие. Моя гордость способна дарить. Она отказалась бы просить.

Среда

Я сказала: теперь по отношению к вам — прострация и сухость; именно то, чего вы хотели. И все же эта сухость — еще чувство, это еще живо во мне. Пока вы останетесь во мне, пока я не порвала все, что меня с вами связывает, я не могу принадлежать другому. Я никогда не смогу раздвоиться: тело — другому, сердце — вам. И если другой дает мне или позволяет любовь или ее подобие, я не сохраню для вас дружбы. (Потеря за потерю... Потому что иметь от мужчины то, что я имею от вас, — это уже его потерять. Ничего в настоящем, ничего в прошедшем, ничего в будущем... Кроме того, женщина не дарит дружбы мужчине, который ее отверг.) Вы единственный друг, которого я не смогла бы сохранить в нормальной жизни. Косталь, друг семьи, «сладкий дядя» для моих детей — никогда! Обратная сторона моего чувства — ничто, подобно тому, как ваш избыток наслаждений имеет в качестве обратной стороны янсенизм. Вы для меня будете потерянной любовью, а не дружбой. Вы не превратите поток в оросительный канал, а дикого коня в домашнюю лошадь. Правда, сейчас я так нуждаюсь в нормальной жизни, где вас может не быть; мне так хочется обнять реальность, а не мечты; так хочется сжать в объятиях мужчину или своего ребенка; я так признательна была бы отличному парню, который позволил бы мне любить его, что принадлежала бы ему полностью, с удовольствием, по крайней мере. Больше того: я, та, кто не любит детей, начинаю их отчаянно хотеть. Ребенка, а не мужа. Потому что раз мужчина не желает быть любимым и раз невозможно вынести это, остается ребенок как выход. Таким образом, я бы в вас больше не нуждалась. Да, в тысячу раз лучше иметь в руках близкое существо, даже если бы оно меня вовсе не любило, чем испытывать чистейшую, исключительную нежность отсутствующего.

349

Пятница

Я больше не могу, я больше не могу. В человеке есть определенная способность выносить страдание. Если оно переходит грань, человек умирает или освобождается любым способом. Страдание не может вечно оставаться страданием; оно переходит во что-то другое. Вот уже четыре месяца — после Парижа — вы заставляете меня жить в горящем доме; мне остается или задохнуться, или выброситься из окна и разбиться.

Я не умоляю, я не стала бы у вас что-либо вымаливать. Но я повторяю серьезно, однозначно: если предстоит отказаться от надежды стать когда-нибудь вашей, жизнь для меня не имеет больше смысла. Тем не менее, Косталь, тем не менее, я должна жить!.. Так значит в сотнях моих писем нет ни одной фразы, которая в эту минуту распахнула бы ваше сердце! Мне еще хочется надеяться, убеждать себя, что ваша позиция вызвана сомнениями. Когда вы поймете через полгода, через год, что вы ломаете мою жизнь, может, вы... Может, вы меня полюбите. Может, перестанете думать, что я «хорошая особа», которую невозможно «отвратить», не поступая дурно. Может, вы заинтересуетесь моим телом и тем, что оно способно вам дать. Если бы вы меня встретили в железнодорожном вагоне, может быть, для пикантности приключения... Если бы я вас не любила и ранила вас, разгневала, может быть, вы совершили бы насилие, единственно из удовольствия победить меня, возобладать надо мной. (Правда, если бы я вас не любила, мне бы не хотелось вам принадлежать). Я могу подождать. Год-другой... Моя молодость не прошла. Я не выгляжу на свои тридцать лет, мне это часто говорили. Если бы я не открыла вам свой возраст, вы бы меня считали моложе. Вы видите во мне только провинциалку в черном, уравновешенную интеллектуалку. А если бы я была чуточку счастливее, даже иллюзорно, во мне появилось бы столько ребячества, столько света...

Для вас я способна на большее; на меньшее — не способна. Я сказала вам: я не испытываю к вам больше ничего... ничего живого, ничего подвижного. Но, если вы сами шевельнетесь, это шевельнется. Ведь то, что еще скрыто в глубине этого — не дружба, а любовь: она может еще разразиться, как вспыхивает пламя от того, что казалось уже сгоревшей деревяшкой, пеплом. Эту скрытую любовь я могу при желании убить, по крайней мере, подавить, запретить проявляться; не могу ее подслащивать. Чтобы во мне теплилось чувство, необходима уверенность, что когда-нибудь вы «станете чем-то большим, чем друг. Однажды вечером мы обменялись пышными фразами, вы и я — особенно вы — насчет дружбы мужчины и женщины. Дружба мужчины-женщины — это музыка в инструменте, который ее производит. Это совершенно бесплотная музыка, небесная ... резко отличающаяся от чувственности, но поддерживаемая ею. Дружба между нами невозможна без соглашения, торжественного обещания, что однажды она будет другой. Однажды? Когда? Когда

250

захотите: через полгода, через год, если таков ваш каприз. Но что мне нужно — так это ваше твердое обещание; вы должны поклясться самым святым в мире. Тогда я смогу ждать. В противном случае я не смогу. Нет, я больше не смогу. Если я не вырву из сердца нож, я сойду с ума.

А.

Сцена разворачивалась в ресторане Булонского леса (каждый ресторан леса воскрешал в Костале противоречивые воспоминания: часы опьянения, когда он находился здесь с женщиной, которой еще не обладал; часы убийственной досады, когда был с женщиной, ему принадлежавшей). Грациозная теплынь... Четырнадцатилетняя, вне всякого сомнения. Слышны крики птиц, перелетавших с ветки на ветку; тени их, мелькая, заштриховывали стволы. Над миром без закона они летали, чтобы убить время.

Он говорил Соланж:

— Ни я в вас не влюблен, ни вы в меня; и это прекрасно; ради Бога, не будем шевелиться! Итак, никогда не испытывали чувств к мужчине?

— Никогда.

— Вас никогда не целовали?

— Иногда, внезапно. И сразу же я убегала. Но второй раз никогда. Если бы вы видели, как я отшивала тех, кто покушался.

— Вон красивые парни. Вам бы не хотелось, чтобы они вас любили?

— У них, действительно, красивые лица. Но как это может на меня повлиять? Какое отношение между моей любовью и красивым лицом?

— А я, полюбивший вас только за лицо!

— Вы... вы мужчина.

— И никогда не испытывали моральных страданий?

— Нет.

— Никогда не плакали?

— Я не знаю, что это такое.

«Так-так!» — подумал он, — вот идеальная плоскодонка». В то же время его удивляло, что она позволяет ласкать свои волосы, ноги, целовать себя на глазах окружающих. «Все это не слишком гармонично. Но что гармонично, кроме героев романа и пьесы?»

Когда они сели за стол, один ребенок, сопровождающий посетителей ресторана, заметил Соланж и замер, восхищенный ее лицом. Она сказала: «Не знаю, почему я нравлюсь детям...» Косталь, видя взгляд ребенка, понимал, почему: дети были ослеплены ее красотой. Это напомнило ему очень древние времена, когда красота обладала властью.

При словах гарсона: «Не желаете ли, мадам...» он нахмурился: за «мадам» возникал призрак брачного Гиппогрифа¹. «Интересно,

¹ Фантастическое летающее чудовище: наполовину лошадь, наполовину — грифон.

251

каковы ее затаенные мысли? мысли ее родителей? Любовница? Супруга? Ба, оставим это. Если Гиппогриф сбросит маску, будет время еще разок помериться силой со старым врагом».

Косталя гораздо меньше поражала привычка большинства девушек всюду усматривать замужество и их желание выйти замуж (очень законные тенденции), чем их упрямая вера в то, что на них мечтают жениться, даже если это невероятность на грани гротеска. Ему казалось, что около каждой из них всегда находится Химера, а у Химеры — когти (не стоит этого забывать), которые она вонзает при каждом удобном случае и без всякого случая, чтобы поскакать в сферы, где так привольно, что пребывая там в полной ирреальности, она готова на все.

Эту Химеру он назвал «Гиппогрифом»; слово освоилось на его устах и на устах девушек, которые оказывали ему честь иметь на него виды. В зависимости от того, захватила ли эта мысль о возможной свадьбе позиции в их воображении или отступала (в воображении Косталя она всегда находилась на мертвой точке), говорилось, что Гиппогриф процветает или же худеет; то Косталь «подкармливал Гиппогрифа»; то «Гиппогриф неистовствовал»; и даже самая целомудренная девушка доходила до того, что начинала обозначать некое место на своем теле, которым она была одержима, как «гиппогрифическую часть». Косталь проводил досуг в борьбе с Гиппогрифом своих подруг, в стремлении убить Гиппогрифа — иными словами, убеждая их в том, что он ни за что на них не женится. Но, как доброе сказочное животное, поверженный Гиппогриф, не успев испустить последний вздох, возрождался более яростным, чем прежде. Самое трудное — убедить девушку в том, что нет никакого — ну ни малейшего! — желания посвятить ей свою жизнь.

После обеда, в сумерках, они пошли по улице Акаций. Ни одной скамейки, которая не была бы превращена в ложе какой-нибудь склеенной парочкой; никто, однако, не опрокидывал на них ушат с водой, как на распутных дворняжек. «Могут ли они, по крайней мере, научить меня новым жестам?» — думал Косталь. Но нет, каждый их жест вызывал его насмешку: «Э! я это знаю, болван!» До чего же ограничен диапазон ласк — как грустно. Начали раздражать эти парочки, столь похожие друг на дружку и в том, что делали, и своими позами; со своим убеждением, что ничего, кроме них, нет в мире; со своими улыбочками, адресованными вам, как бы для того, чтобы вы восхитились их счастьем, — и все это, чтобы кончить купоросом и препаратами. Поистине гигантская масса вульгарности (литература, кино, газеты, романсы) давила на жалкую пару мужчина-женщина; как горько не иметь возможности выйти из заколдованного круга. При виде десятой парочки Косталь почувствовал себя парализованным. «Через десять минут и я превращусь в подобного шута. Да, самое время утопиться. Еще четыре-пять блаженствующих — и у меня не хватит смелости».

252

Он указал на боковую аллею, опасаясь, не та ли, с чем связаны воспоминания; никаких сверхвпечатлений! и так уже у него излишняя тенденция все примешивать. «Не хотите ли прогуляться туда?»

– Как хотите.

Они проникли под деревья и оказались на своеобразной лужайке, где ожидали рядышком стоящие два железных кресла, приготовленные богиней Премой 1.

Тотчас же на его плече оказалась запрокинутая голова с зажмуренными глазами, отдающая полуоткрытый рот, не возвращающая поцелуи, но позволяющая пожирать интерьер рта и губы, все время с закрытыми, ни разу не открывающимися глазами, и без единого слова. Возможно ли, что эта столь хрупкая форма стала такой полной, такой тяжелой в его объятиях? Она была вся затянута в каучук, окольчужена, как молодой Менелай. Иногда чуть постанывала, будто вот-вот разразится слезами; по напряженности ее губ он догадывался, что в один прекрасный день она обретет способность к укусам; он чувствовал, как ее острые ногти царапают его, словно кошачьи когти: кажется, что она счастлива в его руках, но она, становясь с каждой минутой все нетерпеливее, вскоре оцарапает и ускользнет. Взяв его запястье, она сжимала все сильнее и сильнее, несомненно, стараясь остановить его ласку и все же не останавливая; потом несколько раз вздрогнула. И постоянно этот рай ее подставленного неподвижного лица, и постоянно нависающий его рот. Она не обнимала его, даже не намечала жеста, не шевелила губами — ни разу не поцеловала. Когда он опустился на колени, она совершенно уронила голову, пряча лицо. Что она на все готова — было очевидно, но, как было замечено, он любил действовать по стадиям; к тому же чувство в эту минуту преобладало над чувственностью. Все время он ощущал, как прерывается дыхание.

Иногда, чтобы выровнять дыхание, он поднимал голову; казалось, патриархальная тишина подчеркивала контуры их объятия. Слева он заметил воду, на которую раньше не обращал внимания, она приблизилась бесшумно, как бы не желая их отвлекать. Она блестела, неподвижная, под деревьями, пьющими ее. В сорока метрах отсюда стоял освещенный автомобиль, и рядом были люди, должно быть обедавшие дети, игравшие неподалеку.

Он никогда не забудет ее лица, когда, открыв, наконец, глаза, она выпрямилась. Ее глаза, обычно сощуренные, теперь расширились, стали громадными и смотрели на него, не мигая. Он не узнавал ее; и она видела его впервые; оба открыли друг друга. Он произнес: «Это все еще ты?» Едва слышным голосом она сказала: «Да».

На его часах было половина первого. «Пора уходить». Она молча встала. Волосы ее растрепались, делая похожей на девочку. Она

1 Према — одна из богинь, присутствующих на свадьбе; ее приглашали накануне бракосочетания.

253

причесалась — в какой тишине! Он протягивал шпильки, держа их на кончиках пальцев. Потом она замерла перед ним, как и тогда, возле дома, чуть опустив стыдливо голову; хотя лицо и было опущено, немигающие глаза смотрели исподлобья и были почти всажены в его глаза. Незабываемая дисгармония: то есть гармония ее опущенной и словно покорной головы и этого откровенного взгляда, полного вызывающей гордости. Она не старалась смотреть выше лица, находящегося перед нею; ее мир замыкался здесь.

Он обнял ее, на этот раз стоя; ее голова снова очутилась на его плече; он так впился в ее рот, что узнавал, кто она, только по запаху ее рта. Он переложил ее с левого плеча на правое жестом в точности таким, каким матадор заставляет проходить быка — слева направо, в тесном torero; в позе — абсолютно той же — какая у матадора в этот момент; когда вкопанные

ноги чуть расставлены, а грудь слегка вогнута; с тем же торжественным лицом — абсолютно тем же — какое у матадора, и с тем же абсолютным в душе самообладанием и превосходством над противником: опьянением, смешанным с хладнокровием, подобно тому как в глине смешиваются земля и вода. Его власть над нею была абсолютной, и он это знал. Если бы он предложил: «Останемся здесь на всю ночь», она бы осталась. Если бы он сказал: «Разденьтесь», она бы разделась; она была зачарована. С властью над нею могло сравниться разве что желание не злоупотреблять этой властью, даже не причинить ей боль, прижимая к себе слишком сильно, потому что он чувствовал, как играют мускулы, вся сила, которая, если бы он был лишен ума, таланта, денег, продолжала бы жить в нем еще не один год, а завтра должна была сделать ее счастливой. Единственно четкими его ощущениями были: твердость зубов Соланж, к которым прикасались его губы, и царапанье ее ногтей по куртке, сверху вниз, словно в жесте агонии.

Они двинулись нетвердым шагом; он держал ее запястье. В Лесу электричество было погашено; они направлялись к Порт-Майо, ища машину. Теперь его ладонь лежала на ее левой груди; он чувствовал биение ее сердца, словно там трепетало сердце вселенной. Он несколько раз сказал, что скверно, мол, не найти машины; она ни разу не откликнулась. Она не сказала ничего: ни единого слова. Она была похожа на заколдованную. Чуть обеспокоенный этим молчанием, он поцеловал ее в затылок, как бы показывая, что продолжает любить. Какой-то парень крикнул из проезжавшего автомобиля: «Не так! В рот!» Она не засмеялась.

Встревожившись еще больше, он сказал: «О чем ты думаешь?» И она: «Об этом вечере...» О, девочка!

Наконец, они поймали такси.

С улицы Акаций на авеню де Вилье такси доставило мертвую. Едва войдя, она запрокинула голову. Она не произнесла ни слова за эти четверть часа, закрыв глаза, прижав рот к его рту, будто черпала из него дыхание и умерла бы, если бы оторвалась. Один раз машина

254

снизила скорость, почти остановилась под разноцветными глазами перекрестка; в нескольких сантиметрах возникло лицо, смотрящее на них сквозь заднее стекло. Он оторвался от нее, поднес к губам маленькую сжатую руку и поцеловал ногти и пальцы. Но в этот раз она чуть подняла голову, чтобы он снова взял ее, лишь этим легким движением доказав, что не потеряла сознание. На авеню де Вилье он пробудил ее. Попрощался и: «Я позвоню вам послезавтра утром». Она вышла молча, как призрак.

Машина тронулась. У первого попавшегося быстро он сказал шоферу: «Не хотите ли перехватить чего-нибудь?» Он выпил два стакана белого вина. Он попросил остановиться, не доезжая до дома, чтобы чуточку проветриться. Ему показалось, что земной шар вращается намного ниже его, и что он перешагивает с облака на облако.

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

МАДМУАЗЕЛЬ РАШЕЛЬ ГИГИ

Париж

23 мая 1927 г.

Ну, дорогая Гигишка, дело в шляпе! Мы тебя выпускаем из рук. У нас в руках ангел небесный,

и мы решили на нем сосредоточиться, не будучи уже в том возрасте, когда даришь каждой крохи, из которых склеивается пирог. Мы бы дошли до нее рассеянными; аппетит был бы меньше, а мы хотим иметь чувство во всем его блеске. Мы верили в долгую ночь и в расцвет зари соизволения; но этот ангел оступился тотчас же едва мы пожелали. Это очень серьезно, это, может, и не титулованное чувство, но зато титулованная эмоция, и если мы болтаем, так потому, что это в нашем духе. Наконец, моя дорогая, мы одержимы возвышенными стремлениями, и, поскольку это область, где тебе нечего делать, мы тебя приглушаем, с твоего позволения, до того дня, который не слишком далек, когда и наш ангел должен будет очистить помещение: возвышенное, увы! не может поддерживаться вечно. За сим мы тебя целуем и посылаем монеты (их здесь хоть отбавляй).

К.

P.S. Мы пишем «мы» потому, что нас обвиняют в гордости, когда мы говорим «я». Это правда, «мы» — куда естественнее, если призадуматься.

ЗАПИСКИ МАДМУАЗЕЛЬ ЖЕРМЭН РИВАЛЬ

Париж

(фрагмент)

«...
.

Вторник. Последний день моего пребывания здесь. Прекрасная пыль военной пекарни, которую я больше не буду вдыхать сквозь запертые решетчатые окна, в шуме и беспорядке ящичков, лихорадочно перерытых. И маленькая деревянная лестница с медными перилами, по которой я спущусь еще разок и больше никогда не поднимусь.

255

Она как трап корабля. Когда по ней взбираешься, дом словно шатается и плывет в открытое море.

Все это следовало ожидать. Когда я нашла это место, К. не

упрекнул ни в чем, хотя, это ему не понравилось: даже когда он мною не занимается, хочет чувствовать, что я под рукой. Моя новая ситуация была для него лишь возможностью стеснения, но уже сама тень стеснения — тяжкое для него бремя. Он не нашел тогда иных слов, кроме: «Ты не выдержишь и месяца. Сама подумай: «Пришла по объявлению». Ты для этого не создана. Они найдут предлог, чтобы тебя вышвырнуть». Он играл на моей гордости. Через три дня он стал еще коварнее: «Когда они выставят тебя за дверь, я увезу тебя, вероятно, в Италию». — «Это обещание?» — «Обещание!.. Разве человек, подобный мне, когда-нибудь обещает?» Неправда, он обещает без конца, но подобный ему редко сдерживает слово. И не извиняется. «Чего ты хочешь? Я передумал. Меня надо принимать таким, как есть. К тому же, это было давно».

Даже не обещая, он вбил мне в голову мысль об Италии: это все, что он хотел. Каждый раз при встрече возникало: «Если тебя отошлют и мы поедем в Италию, чего, впрочем, я не обещаю...» Кончилось тем, что из-за этого «если» я стала придумывать предлоги; случалось такое и с другими. Я могла бы сделать так, что меня отослали бы за «профессиональную недостаточность» (иначе говоря, саботаж), но это мне претило: меня тоже надо принимать такой, какая есть. Принцип выражения был спорным. И, кроме того, заставить превратить уголовное дело Л. в политическое — на это мне в высшей степени наплевать. У Л. была

голова, которая мне не нравилась. Теперь я обязана поддерживать веру, что я «красная». Мама плачет. «Ты, воспитывавшаяся у сестер! и т.д.»

Не директор в этом доме кажется мне богом, а кассир в своей железной клетке: глухой, молчаливый, слепой — абсолютный бог. Еще одна женщина ждет на скамейке в прихожей, надеется на место — но рассчитывать не на что. Приходит девица Рено со своими узкими плечами и личиком, похожим на плохой лимон. Это тяжело в самом начале, когда тебе шестнадцать, и без привычки... Она не перестает тосковать по своему бедному жилищу, где свободна и не подвержена грубостям. А у той, вот там, что-то случилось с машиной. Она смотрит на меня с отчаянием, надеясь на помощь. «Мадмуазель, не знаю, что произошло». — «Ваш ремень соскользнул, сейчас поправлю». Теперь говорит Люсьена: «Я боюсь Боженьку» (Это пройдет). «Мадмуазель, у меня голова болит». — «Сходите во двор проветриться и возвращайтесь через пять минут». — «А если меня директор увидит?» — «Скажите ему, что я разрешила». Она уматывает. Тогда другая: «Мадмуазель, она не вернется». (Даже «краевые» между ними все время считают долгом лицемерить). Я отвечаю: «Именно так я и поняла». Не могу принуждать себя играть роль красной. Чтобы показать им, что я с ними заодно, надо лишиться авторитета, но это сильнее меня, я не могу.

(Да, Андре Барбо, можешь зыркать на меня, сколько влезет, моя девочка. Ты не заставишь меня опустить глаза. Ты сорвешь, возможно, нервную улыбку, не больше. Видишь, это ты опускаешь глаза первая. Грязная тварь!)

Через пять минут Люсьена возвращается. Мне доподлинно известно, что они меня боятся. А я боюсь себя самой за то, что дошла до презрения этих несчастных. Но это, кажется, необходимо! «Смотрите на них как на врагов. Будьте жестки». Они не один год будут говорить о помощнице мастера — злюке. Такой же несчастной, как они. Может быть, больше. Конечно, больше. Но они не возмущаются. Какое облегчение после скандала! Сколько «нет» на листке! Всего несколько «да» и порой подпись и ни «да», ни «нет». Однако «за» голосовали многие. Что поражает во всех почти, так это отсутствие смелости. Да и как им бунтовать? Они не только не шокированы произволом и несправедливостью — они их любят; да, они любят произвол. И тем более, они не любят доброты. Если вы не злой, они вас презирают.

Я здесь общаюсь с четырьмя мужчинами и шестнадцатью женщинами. Когда спрашиваю себя, с кем попрощаюсь, нахожу двух мужчин и трех женщин. Такая вот пропорция.

Может, есть какое-то главное слово, мне не известное, которое уладило бы все. Уйти, не найдя его... Не получив ни от кого помощи — К., с которым я об этом говорила, подпрыгнул: «Я! секреты приказа!.. Ни приказывать, ни подчиняться». Разумеется он-то хочет одного: ускользнуть.

Назавтра. — Хуже, чем я себе воображала.

– Знаешь, какое-то время мы не будем видеться.

Он мог бы выдумать все, что угодно... что болен... Но нет, ему всегда нравится говорить правду.

– Я нашел сногшибательную девочку. Чистой воды! Мне нельзя растрчивать силы

256

направо и налево. Если я буду приходить к ней разбитый, мне будет меньше нравиться. Но когда с ней закончится, мы возобновим. Это может быть делом шести недель. Он хотел дать мне тысячу франков. Его жалкие деньги! Я отказалась.

– Ты отказываешься? Как арабы!

– Почему это «как арабы»?

– Когда араб недоволен предложенной суммой, он бросает ее на землю. И не поднимает. Но ты возьмешь тысячу франков. Потому что ты француженка. Потому что ты женщина. И потому что у тебя нет никаких причин для отказа. Я совершаю поступок, который тебе неприятен. Для компенсации я совершаю поступок, который тебе нравится. Что может быть более разумным?

Если бы он лгал, у меня хватило бы сил устоять. Но на его доводы нечего возразить. Я даже не заикнулась об Италии.

Кончилось тем, что я согласилась. Я куплю на эти деньги радио, а маме скажу, что выиграла по лотерее. Аппарат стоит 1450 франков, но я хочу иметь его за тысячу через друга Пьеретты. Я попросила К. прислать мне еще пластинки, потому что он больше меня разбирается в современной музыке.

.....

Едва Косталь и Соланж уселись за стол в саду шикарной гостиницы недалеко от леса Монморанси, как Косталь стал страдать. Его ужасали окружающие едоки: мужчины с их «чрезвычайно изысканным» видом («Дорогая, не напоминает ли вам небо картину Каналетто, которую мы видели в музее Вероны?»); скучающие женщины, с глупостью и злобой, отпечатанными на их лицах: столь непосредственное тщеславие и больше всего в тот момент (о чудо!), когда бессознательно стремились к тому, чтобы их извинили; столь ограниченные в своей манере понимать друг друга с полуслова, прибегать к ритуалам, известным только им; считать себя сливками; изгнанные из всего естественного и человеческого настолько безвозвратно, что в определенные минуты к ним пробуждалась жалость, словно они были прокляты. Внутри ограды находилось сто пятьдесят человек, достоинством же были отмечены только лица метрдотелей, а чистотой — возвышенной чистотой — только эта белая борзая. Косталя тошнило не потому, что они были богаты, а потому, что они были недостойны богатства: поистине «метать бисер перед свиньями». В нем не было ни тени зависти по одной простой причине: то, чем они обладали, он или сам обладал, или ему достаточно было пожелать (и пожелать чуть-чуть), чтобы обладать. Но почестей, места, «выгодного положения» — всего, что обычно ждет писатель со средними способностями во Франции, он мог добиться, только общаясь с подобными людьми. Однако невозможно общаться с ними без отвращения; это было ему так тягостно, что самым мудрым было делать это пореже. Вот почему иногда в этой среде поговаривали, что он стоит особняком. И он, действительно, держался на отшибе.

В какую-то минуту отвращение стало таким острым, что движение души перешло в тело: лицо одной женщины, желавшей показать, как она презирает своего супруга (она хотела походить на Марлен Дитрих, и это удалось ей), было настолько глупым, что Косталь оттолкнул тарелку и поднял голову...

– Что с вами? — спросила Соланж. — Вам плохо?

257

Он так побледнел, что она испугалась. Он извинился, ничего не объясняя, переставил на другое место свой прибор и свой стул, так что в поле зрения уже не было обедающих: перед глазами теперь находился лес. Уже не раз избыток отвращения вызывал в нем подобный мятеж. Точно так же он побледнел однажды на бульваре Сен-Мишель, завидя вереницу студентов. На всех были канареечные лавальеры¹ (символ?), шли они плечом к плечу, что-то горланя, за плакатом, на котором виднелась цифра 69. Их окружали полицейские и с одним из них Косталь обменялся отчаянно-сострадательной улыбкой; внушала ужас мысль, что эти выходцы из народа верили, быть может, в его сочувствие к манифестантам. Иначе зачем

было улыбаться полицейскому? Косталь подумал, что на его месте он, вынужденный службой образумливать этих чад богатеев и следовать за грубым маскарадом их праздности, не смог бы удержаться от тумачков.

Он всегда поражался терпению тех, кого в «добропорядочных семьях» снисходительно именовали «низшими». Он всегда спрашивал себя, как же это получается, что — покорные Европе, нищие в колониях — они не ненавидят больше. Потому что, по всей видимости, существовали такие, в ком не было ненависти; и он был этим тронут, не понимая. Косталь думал, что, какими бы приятными кое для кого ни были периоды социального мира, они не являются ни естественными, ни логичными и что именно в день мятежа жизнь входит в русло. При всех злоупотреблениях и частичной несправедливости (достойных сожаления, конечно) — именно в день мятежа ситуация становится нормальной и удовлетворительной для разума. Наконец-то кончаются чудеса.

Если бы Косталь оказался сегодня в этих местах один, или с приятелями, или с сыном, он отобедал бы в обществе шоферов. Явная грубость их речей была простительна, поскольку им не хватало ни воспитания, ни культуры, ни досуга. Тогда как эти, жалкие, получили всё. А кроме того, шоферы в своих речах не стремились пускать пыль в глаза и талдычить то, что принято считать беседой хорошего тона.

Время от времени Косталь бросал на Соланж тревожный взгляд. Он был здесь из-за нее. Вот плата за его связи с женщинами не из простонародья — встречать и вести в эти гнусные места: салоны, дворцы, ночные кабаки, театры, модные пляжи. О! Они прекрасно знали, что, находясь с ним, должны притворяться, будто поносят эти заведения; они повторяли то, что говорил он сам. Какое прекрасное возмущение! Но надо было видеть, как оживляются, пыжата, ломаются они в увеселительных местах; они не могут утаить, что именно это они любят, только здесь чувствуют себя в своей тарелке, — все они, даже самые деликатные, самые благородные, самые простые. Ничего не поделаешь с равенством: женщина-манерность. Прошлое

1 Широкие мягкие галстуки.

258

Косталя наполнено тяжелыми связями, отравленными позорным долгом: чтобы развлечь этих особ, надо было отречься от себя, сопровождать их в той жизни, которая ему претила. Подобно тому, как тридцатилетний мужчина, выйдя из юношеского возраста и, невзирая на любовь и преданность родителей, связывает с воспоминаниями о них ничтожнейшие обиды («Они целый год заставляли меня слушать курс юридических наук, что не послужило ничему» — или: «Они заставляли меня носить летом фланелевые жилеты»), — женщина, дарившая ему корзины счастья, неспособна была изгнать мысль: «Сколько дней я из-за нее потерял (не говоря уже о деньгах), занимаясь недостойными делами! Например, именно из-за нее (до сих пор краснею) я провел восемь дней в Довиле». В ту минуту он еще не злился на Соланж за то, что был обязан пообедать с нею в этом претенциозном ресторане, но откладывал про запас этот злопамятный мотив, так сказать, щедро злопамятный, чтобы найти его в день, когда пожелает рассчитаться с нею.

Недавно, когда машина везла их сквозь лес Монморанси (порой автомобилисты, проезжавшие совсем рядом, смеялись, видя, как он целует ее взасос, а Косталь по-простецки смеялся в ответ с видом сообщника), он сказал ей: «После обеда в гостинице... если я сниму комнату... не согласитесь ли вы подняться на минутку?» Она ответила: «Да». Постоянно «да»! И теперь обед, начатый в дурном расположении духа, продолжался с тайной меланхолией. Иногда он брал девушек в порыве веселья, не оставлявшем места ничему, кроме славы похищения. В другой раз, как теперь, испытывал нечто вроде неловкости, думая, что акт, столь важный в жизни благородной женщины, для него сделался таким

незначительным. Кроме того, он думал: "Через час я узнаю, как она это делает". Любопытство перестало поддерживать его чувство, и он спросил себя, во что превратится это чувство, когда он останется один?

– Ваша мать не задавала вам неприличные вопросы насчет того, что произошло между нами в Лесу, прошлый раз?

– Нет, к счастью.

– А если бы она спросила: «Как он вел себя с тобой?» — что бы вы ответили?

Она молчала.

– По вашему молчанию можно заключить, что вы не одарили ее ни одной деталью.

– Я никогда ничего не утаивала от мамы.

– Да, это приятно!.. Вы получили милое воспитание!..

– Я никогда ничего не скрывала от мамы, потому что мне нечего было скрывать.

– Вы хотите сказать, что если бы... Ах! я вижу, что вы, вопреки всему, обладаете капелькой разума.

Девочка лет пяти отделилась от компании обедающих и приблизилась к Соланж, не отрывая от нее глаз, в которых было выражение

259

восторга. Когда мать пришла, чтобы ее забрать, девочка заплакала. А потом ее не могли заставить есть: она без конца смотрела на Соланж. Его восхитила эта сцена. И Косталь вспомнил, как Соланж говорила о своем таинственном влиянии на детей.

Она поднялась в комнату необычайно естественно, без малейшего смущения. Он был этим поражен; у него мелькнула тревожная мысль (гадкая? нет, мысль опытного мужчины!): «Словно она всю жизнь делает только это». И поначалу были фотогеничные объятия на балконе, перед листвой, которой фонари придавали хлорно-зеленый оттенок, в то время как снизу поднималась музыка оркестра. Косталь приказал себе: «Надо сделать это хорошо. Надо оставить в ней приятное воспоминание, на уровне старушки Луны и мерзких скрипок. Вобьем себе в башку, что вечность — анаграмма объятия¹. Подарим ей эту безделушку: отрывок вечности».

И вот она лежит голая на постели, оставив лишь туфли с ниспадающими на них чулками. Она разделась по его просьбе, не проявив ни кокетства, ни ложной стыдливости, с той же естественностью и откровенностью, с какой поднималась по лестнице на глазах служащих отеля. Ноги были волосатыми: очаровательная деталь у девушки, при условии, что этим она не слишком злоупотребляет.

Она обнимала своего господина неловко и бессильно, и поцелуи, которые ему дарила, — первые поцелуи с момента их встречи — были строгими и как бы благопристойными. При каждом она словно думала: «Надо его поцеловать. Так принято». Но когда, приблизив свой рот к ее, Косталь сообщал ей первые элементы этого искусства, то почувствовал, что среди всех ласк она, наконец, нашла ту, где занималась своим делом, где, действительно, вкушала удовольствие, и сейчас стало ясно: день для нее не потерян. На протяжении долгих минут этого благоугодного беснования ртов она отдавалась так же, как требует установленная форма обладания. Когда он спросил: «Хотите, я зажгу свет?» — она сказала: «Нет, не хочу», — новым голосом, измененным эмоцией, голосом совершенно маленькой девочки,

одновременно высоким и снижающимся до грудного, словно этот голос доносился издали и принадлежал маленькой Дандийо другого возраста, сохранившейся в глубине ее существа. После Косталь называл этот голос «ночным голосом», ибо она пользовалась им только во время ласк, — а корабль ласк, когда в нем находишься с девочками, всегда плывет с погашенными огнями.

В глазах Косталья не осталось теперь ничего от Соланж, кроме лица, окруженного рассеянными волосами, как бы сердцевины цветка в обрамлении лепестков; казалось, что вся эта женщина была сейчас лишь большим венчиком, женщиной-венчиком... Она согласилась сначала на то, что он хотел, но вскоре заплакала: «Нет, нет!» Она плакала довольно долго, с настоящими рыданиями, пока он ласкал

1 Игра слов: l'eternite — вечность; l'etreinte — объятие

(фр.).

260

ее, не выходя, и думал: «Все это нам знакомо». Отчасти из отвращения причинять ей боль, но главное — желая сохранить неведомое и влечение на будущее — уступая своей щегольской привычке никогда не хватать возможность — он освободил ее; она была только подготовлена: редкостное сочетание сладострастия и добродетели. Ее рыдания продолжались и какое-то время после того, как он отодвинулся; затем стали реже, наконец, прекратились; а в нем все же оставалось ощущение свежести новой раны. Они пребывали в неподвижности и молчании, лежа бедром к бедру; он спрашивал себя, не сердится ли она. Лже-инженю (эту гипотезу разум не мог окончательно отбросить), она, возможно, была задета тем, что ее не взяли полностью; маленькая, она, напротив, может быть, злилась на него за то, что завел в такие дебри. Но внезапно, повернув голову — чмок! — поцеловала в щеку. Звук прыгающей в воду квакши.

Еще несколько минут он молчал. Он набирал высоту. Существуют воспарения, религиозные и прочие, рождающиеся от воздержания. Другие — по сходству противоположностей — могут возникнуть из-за переваривания плотного обеда, что переносит нас в лучший мир. Косталь часто воспарял после свершившегося плотского акта; и, чем больше отдавал себя, тем более интенсивно воспарял. Возможно, оттого, что, освободившись от чувственности, оставлял лишь духовную субстанцию. Возможно, оттого, что, когда «разветвлялся» на женщине, в нем вспыхивал свет, подобно тому как вспыхивает он, едва штепсель вставляют в розетку: абсолютность ощущения, влекущая за собой абсолютность чувства (некоторые стремятся к абсолютности, как вода — к морю).

Почти всё вдохновение его книг возникало во время минут, следующих за обладанием. Так, прижавшись к бедру Соланж, он думал о св. Терезе и видел свою душу в опасности (с католической точки зрения), в то время как сама Соланж думала об этом меньше всего. Однако он уже достаточно жалел ее и устал от жалости.

Оркестр замолчал. Окна были широко распахнуты в теплую ночь, и виднелась черная листва (фонари погасли), шорох которой напоминал дождевой шорох.

Теперь Косталю почудилось, что у кровати стоит Андре с отчаянием на лице. «Я, которая чувствует, знает, понимает! Я, проникшая в ваше творчество лучше вас самих! А вы мне отказываете в том, чем щедро одариваете эту маленькую дурочку, просто потому, что она родилась прелестной!» Порой несправедливость какого-то собственного действия вызывала в нем нечто вроде энтузиазма: удовольствие Бога, созерцающего творение. В этот раз она показалась ему тягостной. Однако снова он ласкал Соланж; поскольку ясно было, что он пристрастен к ней, не имело смысла смущаться. Но он пообещал себе написать Андре завтра милое письмо (впрочем, он этого не сделал, будучи занят религиозными мыслями).

В автомобиле она была не столь растерянной, как накануне.

261

Неоднократно отрывалась от его груди и молча смотрела в глаза, словно испытывая запоздалое желание познакомиться с существом, которому отдалась. Он, под ее взглядом, думал: «Моё лицо — это лицо тридцатичетырехлетнего мужчины, который размышляет. Лицо непривлекательное при сосредоточенности». Он выдерживал ее взгляд, словно солдат, заставляющий себя держать голову над бруствером: откровенная нагота мужского лица, без пудры, без румян, столь храброго по сравнению с лицом женщин, всегда подправленным. Ему показалось, что это тянулось очень долго. Потом она вновь положила голову ему на плечо, будто соглашаясь вторично. Косталь, считая, что имеет право обращаться к ней на «ты» и слыша от нее «вы», улыбнулся: «Ты? Вы?» И она, очень естественно (без малейшего намека на неучтивость):

– Не умею говорить «ты».

Ему понравился ответ, одновременно робкий и гордый: ответ ребенка.

Внезапно после паузы она спросила в упор:

– Вы меня, действительно, любите?

Довольно легкомысленно, не раздумывая, очевидно, еще тая мысль о ее неискренности, он сказал:

– Скорее, вас я должен спросить об этом.

Она вздрогнула и с неистовством, которого за ней еще не замечал и не подозревал:

– Вы не имеете права говорить мне это! Разве я не дала вам достаточно доказательств?

Она привстала, как змейка. «Вы не имеете права!» Он никогда бы не подумал, что она способна произнести такую тираду. Способна ли она быть страстной? Он сказал сам себе жесткое слово мужчины: «Какие доказательства?»

– Я, — сказала она, — я буду вас любить всегда, я хорошо это знаю. А вы сколько?

– Долго.

Она скорчила гримасу. Он сказал:

– Когда мне было шестнадцать лет — шестнадцать, слышите, — у меня была четырнадцатилетняя подружка. Я любил ее, как любят впервые, то есть с жаром, которого потом уже не находишь. Разумеется, она произнесла те же слова, что и вы, классическую фразу: «Я — на всю жизнь. А ты?» Я ответил: «А я как можно дольше». Я любил ее безумно, и мне было шестнадцать; но такова была моя пронизательность. Вряд ли надо добавлять, что спустя полгода мы уже не встречались. Видите ли, я люблю реальность. Я люблю видеть то, что есть, — подчеркнул он с оттенком страсти. — Люди твердят, что слишком большое ясновидение делает несчастным. А вот я вижу то, что есть, и очень счастлив. Но, поскольку мне известна жизнь, я знаю, что никогда не следует давать зарок на будущее. Какими будут ваши

262

чувства через год? через полгода? через три месяца? Какими будут мои? Вот почему я не говорю вам: «Всегда», что, впрочем, нахожу естественным в устах девушки и что меня

глубоко трогает. Я говорю вам: «Долго», и говорю это как человек, знающий, что обозначает «долго». А это означает многое. Знать, что будешь любить кого-то в течение долгого времени, — это много, поверьте.

Она не ответила.

Когда они расставались, он захотел ее подбодрить и сказал с нежной улыбкой:

– Знаете, я вовсе не чувствую себя уставшим от вас...

Позднее он раскаялся в том, что мог сомневаться в ней. Собственно говоря, это не было сомнением. Он верил в новизну ее сердца. Он знал о нетронутости тела. Но невозможно было не подставить к «нет! нет!» и к слезам, и даже к «ночному голосу», к незабываемому голосу маленькой лицеистки, все подделки, мелькающие в женском поле. Он был настолько убежден, что Соланж — «природа», что находил почти грязным свое сомнение, даже если сомнение было, так сказать, вынужденным. Ведь это прошлое Косталья отравляло настоящее всем знанием, которое изменило облик Соланж, и ничего нельзя было с этим поделать. Ничто не могло помешать тому, чтобы она не была для него последней, тогда как для нее он был первым. Ничто не могло помешать тому, чтобы он не познал много копий, прежде чем познать оригинал, и что оригинал казался менее оригинальным после этих копий. И в то время, как позиция по отношению к Андре ничуть его не смущала, он чувствовал себя виновным перед Соланж, будучи виновен лишь в том, что был именно таким. Как бы то ни было, ситуация складывается в пользу того, кого любишь.

Но другое чувство заставляло его усомниться в Соланж: он удивлялся, что она может его любить. Косталь был лишен литературного тщеславия, и Соланж больше всего привлекала тем, что никогда не говорила о его книгах, никогда не высказывала восхищения. Что касается мужского тщеславия, то оно испытывало затмения. Первым движением была мысль: ни одна женщина, которую он захочет, не откажет. Но когда одна из них пала в его объятия, поделившись к тому же и сердцем, он был озадачен и вспомнил слова Луи XV: «Мне трудно понять, за что меня так любят». Тем самым он вкушал удовольствие считать себя победоносным и удовольствие обнаруживать в себе кротость. «Для всего есть время», — сказал мудрец. Казалось неправдоподобным, что Соланж его действительно любит. «То, что во мне значительно, возвышенно, она неспособна оценить: дражайшая милочка, ее мозг — мозг морской блохи. Что же, в таком случае, она может во мне любить? Что во мне есть физически достойного любви? Да, это неясно». Думать так — значит забывать, что женщины, в противовес мужчинам, идут от привязанности к желанию. Итак, его мнительность складывалась из двух элементов: первый можно было «заклеймить» фразой: «Разубеждение пресыщенного, портящего

263

наивность»; второй невозможно не назвать истинной скромностью. Получается, что его чувство было частично хорошим, частично дурным. Как и три четверти наших чувств. Чего не желает общество, предпочитающее четкие виды, чтобы всё различалось. Но чего желает природа, больше всего любящая неясность.

Ничто не может воспрепятствовать моему ясновидению — вечному ясновидению, говорил он себе, когда думал о «долго», противопоставленном ее наивной уверенности. «К тому же ничто не заставит меня пожелать не быть ясновидящим. Моё ясновидение пугает окружающих, но меня не пугает никогда. Меня это забавляет; это прирученное мною чудовище. А почему «чудовище»? Назовем его лучше моим ангелом-хранителем. Благодаря ясновидению я веду совершенно разумную жизнь, делая только то, что считаю возможным делать, сосредоточившись, не сбиваясь с пути никогда, не теряя времени, не обманываясь в отношении других и себя самого, не страдая никогда от людей и даже очень редко испытывая

от них неудобство. И, поскольку я присоединяю к ясновидению мощь воображения и поэзии, с помощью поэзии я обретаю область грез, а с помощью воображения открываю чувства людей, лишенных ясновидения, что позволяет когда угодно давать контролируемый отдых своему ясновидению и таким образом выигрывать по всем статьям. Моя жизнь отнюдь не возвышенна: если мои чувства меня никогда не обманывают, ум, характер и сердце, напротив, полны пробелов; но именно на этих элементах может быть выстроена возвышенная жизнь. Что касается моей милой Дандийо, которая далеко не я, надо добиться, чтобы она не страдала от меня, и я добьюсь этого, то обманывая ее, то не обманывая, руководствуясь в конечном счете не принципами, а, в зависимости от сопротивления, чутьем и деликатностью, полагаясь на любовь в качестве гида. Возможно, что при других обстоятельствах я окутал бы ее иллюзиями. Но надо, чтобы по крайней мере, разок я ее поставил перед реальностью для того, чтобы затем завуалировать зрелище, которое беспрерывно навязывать двадцатипятилетней девушке было бы дурным тоном».

ПЬЕР КОСТАЛЬ

Париж

ТЕРЕЗЕ ПАНТВЭН

Долина Морьен

29 мая 1927 г.

Мадмуазель, видит Бог, как я жалел вас в эти дни (о чем вы меня и просили), и, наконец, сейчас обстоятельства сложились так, что я увидел во сне вашу душу: ей грозит опасность. Вы похожи на доброго человека, который накануне революций считает себя в безопасности, потому что либерал. «Разве революционеры побеспокоят меня? Возможно ли это! Они прекрасно знают, что я всем сердцем с ними. Кроме того,

264

если судить меня, тогда уж судить и всех». Революция свершается; их оставляют в покое; они торжествуют. Затем их арестовывают и убивают. Вы спокойно почиваете, видя себя окруженной толпой маленьких грешников и псевдоневинных, как если бы боги были обязаны этому покровительствовать. Но вы игнорируете пример евреев, которые все, за исключением двух, погибли в пустыне; всё Писание подтверждает эту доктрину. Христос сказал, что там «будет мало избранных»; он восхищается тем, что дорога тесна и редки нашедшие ее. Христиане читают это равнодушно: они думают, что всё это риторика.

В церкви во время одиннадцатичасовой мессы видно, как преклоняет колени щедрая в подаянии толпа проклятых. Смягчающим обстоятельством для них является сам пастырь, который для полноты реестра позволил проклятым пребывать в химерах. Современная церковь имеет не больше права ссылаться на пример Блаженного Августина или св. Фомы, чем мертвый гуманизм наших университетов на Грецию или Рим: античность и средневековье были скиниями духовности, которые ни одна религия и ни одна философия не могли изменить.

Христианская церковь существовала тысячу с лишним лет. Я думаю (возможно, ошибаясь), что дух ее сохраняется только в монастырях. Я мечтал о том, чтобы швырнуть вас в бездну внешнего мира, в такое место, где земное катилось бы под вашими ногами подобно тому, как небесное катится над головой. Если ничто из конструкции католицизма не окажется правдой, вы дали бы мне величественную идею самой себя, и это еще ничего. Всё равно пропадать; уж лучше пропасть в поиске высокого и причудливого, чем в той мерзости, где вы пребываете. Но вряд ли вы последовали моему совету и сходили к священнику, который углубил бы то, что в вас есть. Не буду настаивать. Я не могу увековечивать себя в вас.

Живые, которые только проходят, могут интересовать меня лишь как прохожие. А впрочем, если вы сами сойдете с этого пути, тем лучше: это признак того, что Бог не предназначал вас к нему. В мертвой душе возможны обманные движения жизни, некоторым это известно по опыту. В отношении вас я мог ошибиться.

Вы говорите, что страдаете. Это заменило бы вам молитву, за неимением другого. Страдание — молитва тех, кто не думает, не молится. Не знаю, какого свойства ваши искушения, но думаю, что испытывать их — величайшая милость Божья; если бы вы его не интересовали, он оставил бы вас в покое. Возможно, именно это искушение спасет вас при вашем угрожающем состоянии. Если допустить, что искушение — не присутствие Бога, а его отсутствие, нет, конечно, ни одного святого, в чью душу не является Бог и не исчезает в быстром ритме; душа подобна небу, освещенному солнцем, по которому пробегают облачка, затеняя его время от времени.

У меня относительно вас тоже есть искушения, и я разделен

265

между ними. То искушение направить вас к Богу, как собачонку, которую берут за ошейник («Дурак, зверя поднимают снизу»). То — отбросить вас в ваше небытие, которое вы почувствуете, наконец, в тот день, когда меня там не будет.

Верьте, мадмуазель, в мои искренние чувства.

Косталь

P.S. Напоминаю вам, что во мне нет веры. Если бы я искал Бога, я бы нашел себя.

Распечатываю письмо, чтобы кое-что добавить. Не утаю от вас, что, прошлой ночью, когда я писал вам, у меня было намерение вас оставить. Вы меня разочаровали. Но остается другой смысл. Я бы вас пожалел в субботу, в шесть вечера; и, если я называю именно этот час, так потому, что буду с тем человеком, от которого почерпну это могущество жалости. Но берегитесь, я пожалел бы вас по-особому и в особом направлении. А у вас нет и мысли о тайной жалости. Мне-то все это знакомо.

АНДРЭ АКБО

Сэн-Леонар

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

1 июня 1927 г.

«Еще одно письмо-река! Эта девчонка безумна. Боже! До чего она безумна! И как прав Екклезиаст (или Соломон), говоря о несчастье угодить в сны пламенной женщины!» Не правда ли, вы подумали это? Так вот, как ни удивительно, я вам сегодня утром не наскучу. Я чувствую себя лучше.

Почему я чувствую себя лучше? У меня такое ощущение, что в моих последних письмах я изрядно бредила и что сегодня ситуация видится мне более четкой, такой, какая она в действительности. Прежде всего потому, что я два часа назад сходила к парикмахеру, иначе говоря: я хорошо причесана (по крайней мере, нужно это допустить!) и что, смотрясь в зеркало с мыслью, что эти ужасные дни должны были состарить меня на десять лет, я нашла свое лицо почти таким же (больше того: невероятно, но со дня возвращения из Парижа все твердят о моей молодости, о моем блеске и т.п.). Затем потому, что погода пасмурная; нет

больше летнего опьянения, которое оскорбляло мое страдание; сейчас осень, а осень мне ближе, это совсем другое дело; я надена другие вещи, не те, в которых страдала... своего рода суеверие... Надежда снова поднимает вуаль. Думали ли вы когда-нибудь о том, что серые мрачные дни способны обещать счастье?

Надежда... Обещание... Постоянно этот пакт, заключаемый с самой собой. Постоянно ожидание. Уже четыре года, как я жду от вас чего-то. Я отдала вам все, а от вас ничего не получила взамен. Вы меня ни разу не поцеловали за четыре года! Если бы я умерла, пода-

266

рили бы вы мне, наконец, поцелуй? Почему, почему, если вам это почти ничего не стоит, не подарить мне того, чего я так страстно желала? Вам, имеющему сотни таких подарков, — мне, не имеющей ни одного за всю мою бесплодную жизнь! За один ваш поцелуй я без колебаний отдала бы десять лет вашей дружбы!

В вас есть аномалия: вы любите, и вы не даете. Когда любят — дают; это естественная реакция. А ваше «главное — ничего не давать!» звучит как приказ. Вещь до того ненормальная, что я попыталась было поверить, что вы меня любите. Но вы меня, конечно, любите! Слепой надо быть, чтобы не заметить этого: у женщин на эти вещи инстинкт, который не обманывает.

Вы говорите, что не любите меня. Вы энергично стараетесь убедить себя в этом. Если бы я знала, что вы меня не любите, если бы я была уверена в том, что взять меня — вам в тягость, тогда, слишком гордая, чтобы выключивать у кого-то любовь, я бы себя презирала. Но сейчас я уверена в противоположном. Я знаю, что, не испытывая ко мне всепожирающую страсть, вы меня все-таки любите. Разве я грезила, читая нежность в ваших глазах? Разве я грезила, когда мысль о нашем браке мелькнула у вас во время посещения квартиры на улице Кантен-Бошар? Разве я грезила, когда 16 мая прошлого года вы меня долго держали за руку? когда вы шли, прижимая меня к себе? когда в тот же день вы пожаловались и доверчиво раскрылись передо мной (ваше сожаление, что вы не отец)? Разве я грезила, когда, бывало, вы опаздывали на свидания, я вас спрашивала, почему, и вы отвечали: «Лучше спросите, почему я пришел!» Знаете ли вы, что меня убедило в вашей любви? 26 мая в такси наши ноги соприкоснулись. И в тот же миг, резко, вы отодвинули вашу. Я поняла тогда, что вы любите меня душой. «Женщина, с которой не занимаешься любовью, — женщина, которую любишь»(Бодлер).

Если вы так уверены, что меня не любите, поцелуй, который вы мне дали бы, был бы для вас равнозначен поцелую с камнем. Почему же в таком случае вы так упорно сопротивляетесь? Почему больше не принимаете меня у себя? Почему не поведете меня в такое место, где мы потанцевали бы и выпили шампанского? Тогда все стало бы ясно. Воистину, слишком глупо утверждать, что вы меня не хотите, когда вы делаете все для того, чтобы изгнать желание.

Уже четыре года подле вас я чувствую себя окутанной вашей робостью. Вы хотели бы сделать шаг ко мне, и не осмеливаетесь. С женщинами, которых вы не любите душой, вы осмеливаетесь. А со мной вы теряете голову. Может, вы считаете меня фригидной! В свое время это было бы прелестно, но это подзатынулось. Глупо, что я внушаю вам страх.

Если бы я хотела поймать вас на слове; если бы — каким бы невероятным это мне ни показалось — вы не пожелали бы моей любви, существовало бы одно-единственное средство разорвать отношения: убедить, что вы меня не любите. Видите, в каких непро-

267

лазных дебрях вы запутались. Непролазных для вас, потому что годовалый ребенок из них выбрался бы. Знаете, вы у меня вызываете улыбку. Каким же идиотом может быть

гениальный человек. Ничто не сравнится со смехотворностью вашего отношения ко мне; всегда настоroje... Бедный, бедный мальчик!

Итак, мой друг, расслабьтесь, наконец. Вы сдерживаетесь и страдаете от вашей сдержанности. Разве это мудро? Позволять гасить свет, который я в вас зажгла? Возвращаться к своему одиночеству, к своей бесплодности, к своему безлюбию? Когда спасение здесь, совсем рядом, с голыми руками, свежим лицом, всей своей непорочностью. Больше никогда вы не найдете во мне ничего подобного. Больше никогда Бог не протянет вам руку.

Ваша Андре

P.S. Моя подруга Раймонда уезжает отсюда. Я всегда держала ее в курсе наших отношений. Она спросила меня, до какой стадии это дошло. Когда я сказала, что ничего больше, она вскричала: «Ты до сих пор не поняла, что он над тобой рыцарски издевается?» Я объяснила ей, насколько ваша сдержанность является доказательством любви; она меня обсмеяла. Мне стыдно быть женщиной, когда я вижу вокруг таких грубиянок. И все же мне хочется, чтобы вы позволили написать ей — через какое-то время — что, наконец, вы меня осчастливили. Так мне легче было бы объясниться с нею, когда она вернется. Да, разрешите мне сказать, не только Раймонде, но одной-двум другим надежным подругам: «Косталь — мой любовник». Вы дали бы мне тень счастья, в реальности которого отказываете. И, кроме того, вы мне это слишком должны.

(Это письмо осталось без ответа)

ТЕРЕЗА ПАНТВЭН

Долина Морьен

ПЬЕРУ КОСТАЛЮ

Париж

Воскресенье

Вчера, в субботу, когда вы пожалели меня, в шесть часов у меня сильно забилося сердце. Анжелюс позвонил. И тогда вы на расстоянии внушили мне мысль, что звонари — «фальшивые невинные», что это язычники, которые делали вид, что завтра будут присутствовать на Празднике Тела Господня и отпразднуют его с фальшивой помпезностью, и я испытала ужас от этого колокольного шума. Меня охватила неистовая дрожь, мое тело тряслось, как лошадиный круп, — и все внутри содрогнулось. Тогда я испустила громкий крик пастуха; он должен был долететь до Нуазона. Я стала стонать и распростерлась на полу со скрещенными руками; я чувствовала, что могу только так. Я мотала головой слева направо, ошеломленная и как бы опьяненная своим состоянием. Малыш Марсель (двухлетний сын моей сестры) заплакал так сильно, что его не могли успокоить; я вынуждена была сесть,

чтобы его приласкать. Потом опять откинулась, что снова заставило малыша заплакать; я взяла его к себе, и он успокоился. Я продолжала стонать, все внутри дрожало, я наговорила кучу слов в Вавилонском духе о вас, о нашей свадьбе, «сигаре, у которой лик жажды», Люцифере, «созданном, как праздник». Я прижимала Марсея к груди, к лицу, целовала всего, он барахтался на мне, он был нашим сыном, я вся была им поглощена. Мама спросила, не позвать ли кюре; Барбиа сказал «нет». Мама взяла молитвенник и прочитала молитвы Te Deum и Magnificat.

В это время Барбиа оттащил от меня маленького Марсея. Тогда я стала бить себя кулаками в грудь так сильно, что мне стало немного легче. Я продолжала говорить, но толком не помню, о чем. Я забилась в угол, я ползала на коленях, я ломала руки, я приказала Барбиа надавать мне пощечин, что он и сделал, а потом попросила об этом же маму. Все это время я тихонько плакала, я стонала: «Ах, я умираю!» Должно быть, я выглядела ужасно (жаль, что вы не видели, как я безобразна). Наконец, когда я исстрадалась, я приказала Барбиа, чтобы он ударил меня коленом по груди. Он ударил очень сильно, и меня отпустило.

Любимый мой, больше я ничего не скажу. Предупредите меня, когда снова меня пожалеете. О! Я жажду этого! Но не раньше, чем через несколько дней: я совершенно разбита.

Мари

СОДЕРЖАНИЕ

Встреча Гюисманса с Монтерланом и читателя с ними.

И. Карабутенко5

Жорис-Шарль Гюисманс. НАОБОРОТ.....13

Комментарии.

И. Карабутенко144

Анри де

Монтерлан. ДЕВУШКИ.....157

This file was created with BookDesigner program bookdesigner@the-ebook.org 30.08.2008